

Гарем Ивана Грозного

Автор:

Елена Арсеньева

Гарем Ивана Грозного

Елена Арсеньева

У этого загадочного человека было убеждение, что любовная связь непременно должна быть освящена браком... Восемь раз возводил прекрасных жен на брачное ложе государь всея Руси Иван Грозный... «Я растлил тысячу дев!» – якобы хвалился он одному из иностранных послов. На самом деле он всю жизнь искал ту единственную, которая зацепила бы его сердце, смягчила бы душу, удовлетворила ненасытную страсть и помогла нести бремя власти. Искал... Нашел ли?..

Елена Арсеньева

Гарем Ивана Грозного

© Арсеньева Е., 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Часть I

Анастасия

1. Гон

– Ату ее! Ату-у-у!

Хохот, крики, завывания, от которых кожа коней вскипала по?том, собаки заходились в неистовом лае, а запоздалые прохожие, услышавшие отзвуки дикой охоты, влипали в заборы и крестились исступленно, моля Господа сделать их невидимыми для своры, несущейся мимо в погоне за добычей.

«Уйдет! Неужели уйдет?!»

Но вот светлый, словно бы призрачный очерк стройного девичьего тела вновь появлялся впереди, и из горла Ивана вновь рвался торжествующий, почти звериный крик:

– Ату ее!

Издали донесся визг отставшего меньшого брата Юрки, но Иван будто бы не слышал его по-детски обиженного зова.

Когда улица расширилась, соловый конь справа и рыжий слева равнялись с ним, и Иван, покосившись, мог увидеть обезумевшие от угара погони лица Федора Овчины-Телепнева и Ваньки Воронцова. Наверное, его собственное лицо было

таким же. Они видели сейчас только одно: мельканье этих оголенных девичьих ног – чтоб рубаха не мешала, беглянка подняла ее высоко, выше некуда; они хотели только одного: настичь, догнать, схватить!..

И вдруг она пропала. Только что маячила впереди, но свернула за угол – и нет ее! Иван вгорячах дал шпоры, рванул вперед с пущей прытью, но краем глаза что-то заметил под забором – и осадил разгоряченного коня.

– Вон она, вон! Гляди, лежит! – взвизгнул ошалелый от погони Ванька Воронцов, слетая с седла и бросаясь под забор. – Не уйдешь! Глянь, князюшка! Нагнали!

Девка лежала навзничь, вцепившись в завернувшийся подол своей рубахи, словно хотела одернуть его, да раздумала. Иван скользнул взглядом по разбросанным ногам, нахмурился...

– И мне! И мне! – слышался сзади крик Юрки, затопали рядом копыта, и брат, вырвавшись из рук своего дяди и тезки князя Глинского, потянулся к неподвижному телу.

– Охолопись! – Иван отпихнул брата локтем, да так угодил в живот, что мальчишка согнулся от боли и заныл:

– Ванька, дурка! Дай мне девку! Девку хочу!

– Угомонись, милочек! – ласково зажурчал Юрий Васильевич, и Иван понял по голосу, что дядя с трудом сдерживает смех. – Будет тебе девка! Вот подрастешь малость, глядишь, и оженим.

Наконец-то Иван решился посмотреть в лицо девушки – и невольно отпрянул, встретившись своим взглядом с ее – застывшим. Глаза ее почему-то были серебряными, блестящими, наполненными лунным светом, и Ивану это показалось таким страшным, что он отшатнулся и невольно вскинул персты ко лбу, осеняя себя крестным знаменем.

Глинский исподтишка наблюдал за старшим племянником. Загадочный парнишка произрастает! Что-то не примечал он прежде в Ивашечке особенной жалости к роду человеческому. Не далее как после Рождества, воротясь с

Волока Ламского, куда ездил на охоту с ближними сановниками и дядьями, отрок вдруг объявил себя великим князем и пожелал сам править! Не только Шуйские, державшие в ту пору власть, но и братья Глинские, и Воронцовы Федор с сыном Ванькою, любимцы Ивановы, недавно лишь возвращенные из костромской ссылки, куда их, несмотря на мольбы Ивана, упекли по приказу Андрея Шуйского, почувствовали себя так, будто на их глазах гром грянул среди ясного зимнего неба.

А ведь тринадцать лет, великому князю только тринадцать сравнялось в августе! И не понять, чего было в его решении больше: взрослой ярости на злых честолюбцев-бояр, которые прибрали в державе власть к рукам, отправив в ссылку боярина Тучкова и обезглавив дьяка Мишурина (а ведь оба они были душеприказчиками великого князя Василия Ивановича, и расправа с ними равнялась государственному перевороту!), – или детской обиды на жестокость Шуйских, разлучивших Ивана со всеми близкими людьми, даже с мамкой его, Аграфеной Челядниной, сосланной в Каргополь и насильственно постриженной в монахини, на хамство их, чуть ли не с ногами на постель к великому князю садившихся, ни во что его не ставивших, воспитывающих Ивана с братом будто самую убогую чадь.

Глинский только головой покачал, вспомнив, как племянник отдал наиглавнейшего вельможу, воеводу, всесильного боярского первосоветника, псарям, как метался по двору Андрей Михайлович Шуйский, осаждаемый здоровенными кобелями, а псари, быдло смрадное, с наслаждением орали:

– Ату его! Куси! Рви! – как реготали, видя, что заливается боярин кровью и наконец падает недвижим, не в силах оттолкнуть косматого зверюгу, вцепившегося ему в горло...

Забавник Иванушка! Любя охоту, скакал с толпой сверстников, боярских сынков, по улицам, давил детишек, баб и старух, веселился их крикам. Вот и за этой белоногой девкой погнался сам не зная зачем, гонимый припадком шалой юношеской похоти. Обыкновенная ветреность отрока, развлекаемого минутными утехами! Несмотря на годы свои, немало перебрал он баб и дев, и это раннее сластолюбие лишь подогревалось боярами, теми же Шуйскими.

Иван вытянул палец, коснулся приоткрытых неподвижных губ. Красивая... ох, какая же красивая она, эта мертвая!

– Ох... Что это? Святые угодники! Аринушка!

От внезапного бабьего вопля рука царя дрогнула, натянула косу. Голова девичья чуть повернулась – и серебро вылилось из мертвых глаз. Слезы, слезы это были... Последние в ее жизни слезы.

Полная женщина в черной душегрее, едва наброшенной на летник, простоволосая, растолкала остолбеневших от неожиданности парней, с размаху упала на мертвое тело, забилась, исторгая дикие крики попеременно с рыданиями:

– Матушка Пресвятая Богородица, да что же... да как же? Ой, закатилась звезда поднебесная, угасла свеча воску ярого!

– Полно выть! – Ванька Воронцов преодолел наконец общее оцепенение, схватил женщину за плечи, приподнял. – Сам князь перед тобой, великий князь. В ноги кланяйся, слышь-ка?

– Князь? – Она высвободилась сильным рывком, обвела парней взглядом, безошибочно устала на Ивана огромные глаза, окруженные черными тенями. – Это ты, что ли? Да какой же ты князь?! Телепнева выблядок!

Глинский сунулся вперед и хлестнул женщину по лицу. Иван отпихнул дядю, наклонился:

– Прикуси язык! Слышь, баба?! Прикуси язык, не то вырву! Или с головой простишься!

– Вырвешь? – тупо повторила она. – Да ты мне уже сердце вырвал, иль не видишь?

– Нечаянно вышло. – Иван вздохнул с трудом. – Вот... дядя, дай ей полтину, а то рублевик серебряный.

– Себе возьми, – разомкнула пересохшие губы женщина. – Будь ты проклят! Будь вся душа твоя проклята и вся утроба! Чтоб не знать тебе покоя ни на этом свете, ни на том! Кого любить будешь, ту погубишь, а кто тебя не полюбит, та тебя и

погубит! Чтоб тебе захлебнуться моими слезами! Чтоб тебе утонуть в слезах и крови! Не видать тебе счастья! Минуты покоя не знать! Как ты мою кровиночку сгубил, так и свою кровиночку погубишь! Пустоцветом отцветешь, и никто...

Она вдруг громко всхлипнула – и умолкла.

Иван оглянулся. Женщина навзничь лежала на снегу рядом с мертвой дочерью, слабо загребая руками снег. Из горла толчками била кровь. Вот дрогнуло тело, высоко поднялась грудь – и она замерла, обратив к луне остановившиеся серебряные глаза...

Ванька Воронцов, сноровисто тыкавший шашкою в сугроб, выпрямился, отер лезвие о полу, поглядел – чисто.

– Слышал я про бабу сию: чаровница знатная, обавница, еретица, хитрая, блудливая да крадливая. Не отчитаешься потом от порчи небось! Я ж для тебя, князь-батюшка. Тебя ради!

Сунулся к ручке, но Иван отпихнул его.

Овчина-меньшой придержал стремя – Иван взмахнул в седло. Так огрел вороного, что тот одним прыжком оказался впереди других. Понесся ошалело.

Ветер наотмашь хлестнул по лицу, выбивая из глаз невольные слезы.

«Закатилась звезда поднебесная, угасла свеча воску ярого!» – выло, стонало в ушах на разные голоса. Почему-то казалось, это плачут по нему. Только вот в чем беда: Иван знал, что некому, некому на всем свете уронить по нему хоть одну слезу.

Выблядок, выблядок... Гнусное слово стучало в висках. Не впервой слышит он его, нет, не впервой. Шуйские потому тянули руки к трону, что и сами вели свой род от Александра Невского, притом от старшей линии, а не как великий князь Василий Иванович – от младшей. Да и вообще – неизвестно, Василия ли родной сын наследует престол! Андрюшка Шуйский, песья пожива, не раз болтал, будто нет в Иване ни капли великокняжеской крови, будто приبلудила его матушка Елена Васильевна от своего красавца-конюшего, Ивана Овчины-Телепнева, а вот

старицкий и верейский князь Владимир – законный сын Андрея, младшего брата Василия Ивановича, значит, его прав на власть больше!

«Как же так? Почему? Да я не помню себя иначе чем на престоле!»

Выблядок, выблядок... Ни капли великокняжеской крови!

Иван резким взмахом утер лицо и выкрикнул, глядя в темень, изредка рассеиваемую огоньками сторожевых костров у дальних городских застав:

– Коли так, не буду я зваться великим князем! Царем стану! Русским царем!

2. Два венчания

– Боговенчанному царю Ивану Васильевичу, всея Руси самодержцу, – мир и здравие! Сохрани его Господь на многая лета-а!

В храме Успения служили торжественный молебен. Митрополит Макарий возложил на Ивана крест, бармы, венец и громогласно молился за здравие нового государя. Гремели колокола по всей Москве.

Иван не просто восходил на престол – венчался на царство. Не достигнув семнадцати лет, принял титул, о котором всю жизнь мечтали и дед его, и отец, но не решались принять его даже после важных и несомненных успехов своего правления. Конечно, сам титул не придает могущества, однако влияет на воображение людей, и древнее, римское, библейское название – царь – возвышало в глазах народа достоинство государево.

Царев дядюшка с некоторым беспокойством скользил взглядом по распаренным лицам боярским (в храме было нестерпимо жарко, душно от множества свечей и сотен набившихся человеческих тел). Брат Михаил Глинский, матушка Анна Михайловна, молодой князь Владимир Старицкий вместе со своей матерью Ефросиньей, чей горбатый нос делал ее похожей на хищную птицу, Михаила Воротынский, оба Горбатые-Шуйские, отец и сын, Курлятев-Оболенский, друг великого князя Василия Ивановича, некогда сопровождавший его, больного, с

охоты в Москву в санях, осмелевших Бельских несколько, Сицкий, Кашин-Оболенский... Захарьины – это уж теперь само собой, теперь от этих рож не отворишься: новая родня государева.

Среди напыщенных, бородатых, краснощеких лиц боярских мелькнуло молодое, красивое. Андрей Курбский, пронский воевода! И Юрий Васильевич вдруг понял, что нынче в храме на удивление мало молодых. Прежних приятелей Ивана, Трубецкого с Дорогобужским, да Овчины-меньшого с Воронцовым, не видно. Все казнены по Иванову приказу, не простил им царь, что видели его в минуту слабости. Но предлог был приличный – якобы все они, во главе с Воронцовыми, подстрекали новгородцев к мятежу...

Кто-то непочтительно подвинул Глинского с места. Покосился – да это Алешка Адашев, охранник Ивана. Вот те пожалуйста, еще одно молодое лицо.

– Чего стал, князюшка? – процедил Адашев сквозь зубы. – Путь не заступай!

Глинский очнулся – ох, да и впрямь царь уже пошел из собора во дворец, твердо ступая по дорожке, устланной багряным бархатом да алой камкою.

Адашев обогнул Глинского, забежал вперед. Тот лишь покачал головой. Худородный парнишка-то, отец его – человек незначительный, однако же Алешка у Ивана в любимчиках ходит. Быть ему ложничим на грядущей царской свадьбе! Уж если племянник отрядил этого Адашева с именитыми боярами невесту свою смотреть, то широкие пути Алексею нынче откроются – широкие, долгие...

* * *

– Кто там? – Задремавшая над пальцами боярыня Захарьиная испуганно вскинулась – скрипом резануло по ушам.

– Это я, матушка Юлиания Федоровна! – В двери показалось темное, смуглое девичье лицо. – Я, Маша. Можно к Насте?

Вдова Захарьиная поджала губы. Сказано же было челядникам: не пускать эту... Машу! Хотя она любому голову заморочит и глаза отведет.

– Матушка! Кто там? – раздался сверху голос дочери, и Юлиания Федоровна обреченно вздохнула: теперь не отпереться.

– Иди уж, коли пришла, – процедила, отворачиваясь, словно и глядеть-то ей было невмочь на улыбочное девичье личико.

Ничем ее не проймешь, эту Магдалену, полячку крещеную. С матерью из Ливонии бежали, защиты от притеснений немецких искать, да мать и умерла. Прижилась Магдалена по соседству с Захарьиными, у добрых людей, которые от веку были бездетными и только обрадовались приемышу. Окрестили по православному обряду Марией, назвали дочерью, и постепенно улица привыкла к ней, девушки зазывали Машу в свои светлицы, дружились с ней, секретничали. Матери, конечно, чистоплотно сторонились чужинки, особенно стереглась Юлиания Федоровна, но у Насти на все про все был готов ответ: «Что же, что из Ливонии? Небось наша правительница, Елена Васильевна Глинская, тоже была родом из Ливонии и не родилась православной, а после крестилась, как и все ее семейство!»

– Ты чего такая? – Анастасия с любопытством оглядела подругу. – Щеки вон горят.

– Небось загорись тут! – хохотнула Маша-Магдалена. – Со всех ног бежала.

– Гнались за тобой? Чего бежала-то?

– Царь молодой надумал жениться! Я сама слышала, как на площади кричали: властям, мол, предписано смотреть у бояр дочерей государю в невесты. У кого дома дочери-девки, те бы их, часу не мешкая, везли на смотр. А кто дочь-девку у себя утаит и на смотр не повезет, тому полагается великая опала и казнь!

Внезапно вспомнилось... Настя была еще девочка; отец, Роман Юрьевич, только что умер, в доме после похорон толпился народ, то и дело мелькали фигуры монахов и монахинь. Измучившись от горя, Юлиания Федоровна с дочерью затворились в родительской спальне, пали под иконы, моля Господа не оставить своим призрением сирот. Внезапно дверь распахнулась. Обернулись испуганно – на пороге высокая мужская фигура в рубище.

– Поди, поди, – слабым от слез голосом проговорила вдова, ничуть не удивившись, ибо нищих нынче был полон двор, – поди, убогий, на кухню, там тебя накормят и напоят. И вот еще тебе на помин души новопреставленного раба Божия Романа. Сделай милость, возьми.

Она протянула медяк.

– Спасет Христос тебя, матушка, – густым, тяжелым басом провозгласил нищий. – Спасет и вознаградит за доброту твою. Придет час – дочка-красавица царицею станет!

Юлиания Федоровна устало опустила веки и покивала, соглашаясь. Скорбная улыбка коснулась ее уст:

– Станет, а как же. Спасибо на добром слове, гость. Ты уж поди на кухню-то...

Потом кто-то рассказал матери, что это был не простой нищий, а сам преподобный Геннадий! Сын богатых родителей, он рано почувствовал влечение к иноческой жизни, покинул отчий дом и, облачась в рубище нищего, отправился подвижничать на озеро Суру, в костромские леса. Иногда он ходил в Москву, поражая народ прозорливостью и даром исцеления. Но и узнав об этом, трезвая мыслью вдова Захарьина отмахнулась от пророчества, не стала тешить себя пустыми мечтаниями, пробормотав осуждающе: «А ведь сказано в Писании – не искушай малых сих!» И только Анастасия иногда позволяла себе вспомнить, как вещей холод коснулся ее спины при этих словах: «Придет час – дочка-красавица царицею станет!»

И вот... Неужто он пришел, этот час?!

Анастасия затрясла головой: о чем она только думает! Грешно этак заноситься мыслями.

Магдалена стояла около небольшого столика с точеными ножками, на котором стоял уборный ларец, и пыталась поднять тугую скобку замка.

– От кого заперлась накрепко? Что там у тебя? Грамотки любовные? Васькины небось?

Анастасия вскинула на нее глаза.

Однажды ее двоюродный брат Василий Захарьин оказался настолько дерзок, что передал с Магдаленой малую писульчку: ты, дескать, Настенька, краше заморской королевы, я за тебя хоть в огонь готов, а потому не выйдешь ли в сад – единого слова ради! – после того, как все огни в доме погаснут? Конечно, она никуда не пошла: с этим Васьюкою греха не оберешься!

– Грех, грех... – словно отзываясь на ее мысли, пробормотала Магдалена, открыв наконец ларец и заглянув в него. – Грех вам, москвитянки, такое непотребство с лицами своими творить! Страшно вообразить, какие личины ряженые соберутся на те царские смотрины!

Она с презрением оглядывала сурмильницу, да румяльницу, да белильницу, да коробочки с волосиками для подклейки бровей и балсамами, то есть помадами, стекляницы с ароматными водками.

– Не пойму я вас, русских, – фыркнула Магдалена. – Словно бы другие лица вместо Богом данных малюете. Какие-то красно-белые! Таких и не бывает наяву! У нас в Ливонии вот этак-то красятся только непотребные, продажные женки.

– Ну что ты несешь?! – всплеснула руками Анастасия. – Откуда тебе знать, как в Ливонии непотребные женки мажутся? Ты с той Ливонии уже десять лет как отъехала.

– Ну и что ж, у меня память хорошая! – задорно отозвалась Магдалена. – О... о, какие серьги! Двойчатки, да с бубенчиками! Новые?

– Тетенька подарила к Рождеству.

– Больно рано! – ревниво отозвалась Магдалена, торопливо вдевая в уши серьги и красуясь перед зеркалом. – До Рождества-то еще седмица[1 - Неделя.]!

– Она к старшему сыну отъехать задумала. Сын ее – пронский воевода.

– Курбский? – мигом насторожилась Магдалена. – Так он твоя родня?!

– Ну да, мы с ним троюродные. И его матушка, и моя – Тучковы урожденные. А ты знаешь, что ли, князя Андрея Михайловича?

– Как же, видела. Красавец писанный! Галантен, как настоящий шляхтич, знает обхождение с дамами, по-польски говорит. Даже и по-латыни изъясняется!

– Да, скажи на милость, откуда ж тебе все это ведомо?! – засмеялась Анастасия. – Какая сорока на хвосте принесла?

– Да я сама по ночам сорокой оборачиваюсь и летаю там и сям, – лукаво усмехнулась в ответ Магдалена, так и сяк вертясь, чтобы получше разглядеть себя в серебряном шлифованном зеркале, вделанном в крышку ларца.

– Окстись! – махнула на нее Анастасия. – И придержи язык. Потянут тебя на Божий суд как ведьму за такую болтовню – узнаешь тогда... Ой, что это там такое?

Залились вдруг лаем кобели у ворот. Внизу по скрипучим половицам пробежали чьи-то всполошенные шаги, раздался взволнованный голос брата Данилы. Торопливо заговорила с кем-то мать. Дом наполнился вскрикиванием, гомоном, торопливыми окликами. Громко заплакал малец Никитушка.

– Настька! – раздался снизу голос Данилы – такого голоса Анастасия у брата отродясь не слышала. – Настька, отзовись! Чего в темноте сидишь, дура? Неужто спать завалилась?! Не до сна теперь, очи-то продери! Царевы бояре приехали, на смотрины звать! А ну, нарядись поскорее да рожу, рожу намажь, не забудь!

– Царевы бояре, – выдохнула возбужденно Магдалена. – Ох, Матка Боска, Езус Христус... Чего ж ты стала, будто гвоздями прибитая? Одеваться! Косу дай переплету! Где-то я тут видела пронизи жемчужные – как раз хороши будут.

Она заметалась от сундука к уборному столику, но тут в светелку ворвалась Юлиания Федоровна со свечой в руке. На лице плясали тени, и Анастасии вдруг почудилось, что мать кривится, с трудом удерживаясь от рыданий.

– Поздно! – выдохнула Юлиания Федоровна. – Бросьте все. Велено, чтоб шла, в чем есть.

Анастасия поймала взгляд матери и поняла, что они обе думают об одном и том же: о преподобном Геннадии и как он сказал: «Дочка-красавица царицею станет!»

– Мам, я боюсь, – всхлипнула Анастасия еще пожалев братца Никитушки. – Я не хочу...

– Не томи! – Юлиания Федоровна схватилась за сердце. – Деваться некуда, пошли, не то силком вниз сведут. Там сама Анна Глинская притащилась, щука кривоzubая, ты ее стерегись, держись скромно, но очестливо[2 - Вежливо.].

Анастасия непослушными ногами пошла вслед за матерью к двери, на ходу подбирая волосы, выпавшие из-под головной ленты. Лента была самая простая, хоть и шелковая, бирюзовая. Знала бы – надела бы шитую жемчугом. И рубашка на ней обыкновенная, домашняя, и сарафан синий, абы какой, и душегрея отнюдь не соболья, не парчовая. Одета не как боярышня, а как сенная девка, иного слова не подберешь.

Сзади громко, взволнованно дышала Магдалена, и Анастасии чуточку легче стало при мысли, что подружка с ней.

В нижней комнате зажгли все огни, какие только можно, – светло там было, светлее, чем днем. И душно! Анастасия почувствовала, что на носу со страху и от жары выступили бисеринки пота. Вспомнив, что девице до?лжно дичиться, закрылась рукавом и украдкой отерла носик.

Наконец-то разошлась мгла в глазах, и Анастасия смогла хоть что-то видеть. Вон старший брат Данила Романович – лицо будто наизнанку вывернутое. Рядом два боярина – один пониже ростом, в годах уже преклонных, мягкий весь какой-то, взгляд у него приветливый. Чем-то он напомнил Анастасии покойного отца. Тут же стоял еще один боярин, помоложе, хотя тоже почтенных лет, и он был до такой степени похож на престарелую боярыню, сидевшую в красном углу, что Анастасия вмиг смекнула: это сын и мать. Поскольку Юлиания Федоровна назвала боярыню Анной Глинской, это мог быть только царев дядюшка Глинский Юрий Васильевич.

Обочь, как бы сторонясь почтительно, стояли еще двое: красавец молодой, чернокудрый и черноглазый, который сначала так и вперился в лицо Анастасии,

но тотчас отвел взгляд и с тех пор смотрел только ей за спину, – и еще высокий монах, закрывший лицо низко надвинутым куколем[З - Головной монашеский убор наподобие капюшона.]. Гляделся он мрачно, да и остальные бояре, будто сговорясь, явились все одетые в черное. Лишь Глинский поблескивал серебряной парчю польского кафтана, а так – словно бы стая воронья набилась в комнату!

– Ну, здравствуй, красавица, здравствуй, милая доченька, – ласково заговорил пожилой боярин, но его перебила сухощавая, желтолицая Анна Глинская:

– Ну, никакой красоты мы пока еще не видели, так что не спеши товар хвалить, Дмитрий Иванович!

Анастасия сообразила, кто этот Дмитрий Иванович: боярин Курлятев-Оболенский, бывавший у них в доме еще при жизни отца. А еще она поняла, что Анна Глинская отчего-то ее, Анастасию, невзлюбила с первого взгляда.

– И одета как нищая... – брезгливо поджимая губы, протянула княгиня.

Юлиания Федоровна и Данила враз громко, обиженно ахнули:

– Вы же сами сказали, сударыня Анна Михайловна, чтоб девка шла немедля, в чем есть, красоты не наводя. Время уж позднее, ко сну готовились...

– Ну, виноваты, не предупредили хозяев! – резко повернулась к ним Анна Глинская. – Обеспокоили вас чрезмерно? Не ко двору слуги царские? Так мы ведь можем и убраться восвояси! Как скажете!

– Да погоди, милая княгиня, – примирительно прогудел Курлятев-Оболенский. – Чего разошлась, словно буря-непогода? Прямо в вилы девку встречаешь! Дай ей хоть дух перевести. А ты, доченька, перестань дичиться, ручку-то опусти, позволь нам поглядеть на красоту несказанную.

В голосе его не было и тени насмешки, только отеческая ласка, и Анастасия осмелилась выглянуть из-за пышных кисейных сборок. Взгляды собравшихся так и прилипли к ее лицу.

Анастасии часто говорили, будто она красавица, однако сейчас чудилось, что и тонкие, легкие, русые волосы, и ровные полукружья бровей, и малиновые свежие губы, и ярко-синие большие глаза, заблестевшие от внезапно подступивших слез, и длинные золотистые ресницы ее – товар второсортный, бросовый, который и хаять вроде бы неловко, и слова доброго жаль.

Анастасия метала по сторонам настороженные взгляды, пугаясь воцарившейся вдруг тишины. На лице у Дмитрия Ивановича улыбка явного восхищения. Юрий Глинский смотрит вполне милостиво. Анна Михайловна поджала губы, глаза сделались вовсе мрачными. Даже чернокудрый красавец не шныряет более глазами по углам, а уставился на Анастасию. Но отчего-то почудилось, что внимательнее всех рассматривает ее неприметный черный монашек. Уловив мгновенный проблеск его очей, Анастасия заробела до дрожи в коленках.

Курлятев-Оболенский с трудом отвел глаза от Анастасии:

– Хороша девка! За себя бы взял с удовольствием, не годись она мне в дочери, да и грех это, при живой-то жене!

Глинский одобрительно кивал. Анна Михайловна и бровью не повела, и словца не обронила. Чернокудрый улыбнулся, но взгляд его воровато шмыгнул за спину Анастасии, где затаилась Магдалена. Монашек еще раз ожег Анастасию глазами и, не прощаясь, двинулся к выходу.

Анастасия пала под образа:

– Матушка Пресвятая Богородица! Да что же это... что это было? Что будет?!

Гости Захарьиных рассаживались по возкам. Алексею Адашеву и монаху подвели коней. Черноризец, подобрав полы, взлетел в седло с лихостью, отнюдь не свойственной его чину, однако Адашев медлил, косился на приоткрытые захарьинские ворота, на высокое крыльцо, где еще топтались почтительные хозяева. В стороне зябла, обхватив себя за плечи, тоненькая девичья фигурка...

– Дальше к кому? – спросил Юрий Васильевич Глинский, подсаживая матушку в возок.

Ответила, впрочем, не она – ответил монах:

– Возвращаемся. Хватит с меня!

Курлятев-Оболенский воззрился изумленно. Анна Михайловна высунулась из возка:

– Как так? Иванушка, дитя мое, что ты говоришь?

– Что слышали, – невозмутимо отозвался «монах», стряхивая с лица капюшон и нахлобучивая шапку, поданную стремянным. – Видали мы многих, но увидели ль лучшую, чем Захарьина дочь?

Дмитрий Иванович одобрительно крякнул, прихлопнул ладонями:

– Правда твоя, государь! Правда истинная!

Анна Михайловна фыркнула, но, хоть и не сказала ничего, ее внук отлично умел понимать невысказанное. Свесился с седла, сверкнул глазами:

– Шестнадцатого января венчаюсь на царство, третьего февраля – венчаюсь с Анастасией! Все меня слышали? А коли так – к чему воздуха сотрясать словесами?

Огрел коня по крупу:

– Пошел, ретивый!

Конь с места взял рысью. Следом загромыхал возок.

Адашев отстал.

* * *

Монастырь спал – ночь давно перевалила за середину. В деревне тоже было тихо, ни одна собака не взбредет. Чудилось, во всем этом темном, заснеженном, звездном мире не спал только один человек в длинной монашеской одежде, который стоял на дороге под монастырской стеной.

Внезапно до его слуха долетел отчаянный собачий лай, потом стук копыт по наезженной дороге. Он вперился взглядом в темноту и нетерпеливо стиснул руки, однако тут же опустил их, приняв вид спокойный и даже равнодушный, и когда всадник вылетел из-за поворота дороги, конь его испуганно заржал и взвился на дыбы, едва не налетев на высокую неподвижную фигуру, одиноко черневшую посреди белоснежного поля. Всадник с трудом заворотил морду храпящего коня, пал в снег и простерся ниц перед монахом.

Тот усмехнулся:

– Встань! Что ты передо мной, словно католик или униат поганый, простираешься? Еще и руку к губам прими!

Всадник привскочил на одно колено и, правильно поняв намек, припал к худым пальцам монаха.

– Отче... – выдохнул запаленно, так же часто вздымая спину, как его конь вздымал крутые бока. – Здоров ли?

– Здоров, не тревожься, – благосклонно кивнул монах. – Ты ли, Игнатий? Не разгляжу.

Всадник поднял молодое, курносое, измученное лицо:

– Он самый, отче. Вешняков.

– Рад тебя видеть. Но что митрополит? Что любимый сын мой Алексей? Что княгиня Ефросинья? Что... государь?

– Меня прислали сказать, что дело слажено. Государь свой выбор сделал. Венчается с дочерью покойного Захарьина-Кошкина Романа Юрьевича. Жена его из Тучковых, сами Захарьины ведутся от Андрея Кобылы.

– Да ты подымись, сыне, – позволил монах, и московский гость охотно повиновался. – Значит, говоришь, Захарьина девка... Ну что ж, Захарьины зубасты. Один Григорий Юрьевич, брат покойного Романа, чего стоит. Он с Глинскими за свое добро не на жизнь, а на смерть схлестнется. Особенно в союзе с Шуйскими. Что нам и потребно... Передай Алексею – надобно уговорить царя гнев на милость сменить. Шуйские – соль державы, из тех родов, что основа ее. А коли одеяло на себя шибко тянут, так свой край держать покрепче надо, не выпускать, – вот и вся премудрость. Князя Федор Скопин-Шуйский, Петр Шуйский, Юрий Темкин, Басмановы отец с сыном – довольно им по ссылкам сидеть. Скажи Алексею – пускай-де помилует Иван ради свадьбы старых смутьянов, усмирит сердце.

– Скажу, – кивнул Вешняков. – Только смекаю я – мало этого, чтобы Глинских одолеть. А одолеть надо, если мы хотим...

– Пока Глинские у трона, нам до сердца и души государевой не добратся, – кивнул чернец. – Но ничего, свернем им шею! Попомню я им, как меня гнули да ломали за то лишь, что я несправедно заключенному князю Владимиру Андреевичу Старицкому воли искал. А ведь кабы не я, и его, отрока молодого, вместе с матерью загубили бы Юрий да Анна Глинские, как правительница Елена загубила Андрея Ивановича, своего деверя и законного престолонаследника! Умна, умна была... блудница вавилонская, дочь диаволова! Истинная родня Иродиады с Иезавелью. Иван – ее сердца исчадие, отсюда и неистовость его. Князь-то Василий не таков был, послабже, пожиже сутью...

Он умолк, покосился на жадно внимавшего Вешнякова.

– Вот что, сыне. Ты сейчас гони в деревню, заночуй там. В монастырь я тебя пустить не могу – нельзя, чтоб знали о московских ко мне посланцах! А в деревне ты постучись в третий от конца дом, хозяина там Игнатием кличут, как и тебя. Скажи, мол, Сильвестр свое благословение шлет – он тебя и приютит. Отдохнешь – поезжай в Новгород, а оттуда – в Москву, не мешкая. Скажешь Алексею, пускай князя Курбского к рукам приберет – это сокол дальнего полета, он нам вскорости очень пригодится.

Сильвестр осенил посланника крестом, однако не стал противиться, когда тот поймал его руку и снова облобызал жарко.

Монах ушел в обход монастырских стен, за башню, где таилась неприметная, лишь ему известная калиточка, позволявшая беспрепятственно, в любое время дня и ночи, покидать обитель. Вешняков кое-как взгромоздился на замороженного коня и медленно потрусил в деревню.

* * *

– Днесь таинством церкви соединены вы навеки, да вместе поклоняетесь Всевышнему и живете в добродетели; а добродетель ваша есть правда и милость. Государь! Люби и чти супругу, а ты, христоролюбивая царица, повинуйся ему. Как святой крест – глава церкви, так муж – глава жены. Исполняя усердно все заповеди божественные, узрите благо и мир!..

После венчания Анастасию вывели в трапезную и сняли с ее головы девичий убор: покрывало и венок. Она испуганно моргала – фата мешала смотреть вокруг, вдобавок в храме Богоматери было нестерпимо жарко от множества свечей. И воздуху не хватало, а тут было хорошо, прохладно. Вдруг захотелось испуганно заплакать, но матери не было рядом – вообще не было ни одного знакомого, приветливого лица: родственницы царя, убиравшие невесту, Анна Глинская и Ефросинья Старицкая, обе с поджатыми губами, смотрели недобро. А дружка Курбский так и прожигал ненавидящим взором.

Да что она дурного сделала Андрею Михайловичу? Ведь только после окончательного сговора Захарьиных с Глинскими брат Данила проговорился, что князь к Анастасии еще год назад хотел заслать сватов, а Юлиания Федоровна поговорила с его матерью и заранее отказала. Видно, слова преподобного Геннадия крепко засели в ее голове. Но не Анастасия выбрала себе мужа – слыханное ли дело, чтоб девица сама мужа выбирала?! – а судьба. За что же князь Андрей Михайлович ее так ненавидит сейчас?!

А впрочем, что за дело Анастасии до его любви и ненависти? Не о том сейчас надо думать... думать надо о том, что в покое летнем дворцовом, устланном коврами, затянутом камкою, на тридевяти снопах ждет ее брачное ложе. Исстари стелили на Руси молодым в сеннике, даже зимой, как бы ни было холодно в нетопленном помещении, потому что на его дощатом или бревенчатом потолке не была насыпана земля, как при устройстве теплого покоя. Не допускал обычай, чтоб над головами новобрачных была земля, нельзя во время радостей свадебных вспоминать о смерти, о могиле.

Но отчего-то Анастасия казалась себе беспомощной покойницей, пока с нее снимали уборы и наряды и ближние боярыни с песнями уносили душегрею, летник, ожерелье, запястья, чулки и башмаки из брачного покоя, показывая гостям, что молодая разоблачена перед новой жизнью и ждет супруга. Испуганная Анастасия ловила взор матери, однако лицо Юлиании Федоровны было суровым и до того усталым, словно она только и ждала, как бы поскорее покончить неприятное, утомительное дело, а самой отправиться домой. Свадебный пир затянулся чуть ли не за полночь, и он будет продолжаться еще долго, в то время как они с царем...

В это время ввели государя, и Анастасии почудилось, будто не семь перин под нею, а соломенная худая подстилка, будто не соболями и шелками покрыта она, а тоненькой ряднинкою.

Какой он высокий! Как неприступно поджаты его губы! И когда сваха Ефросинья Старицкая с силой швыряет в него обрядным зерном, словно норовит попасть в лицо побольнее, он так хмурит свои и без того суровые брови... Да увидит ли Анастасия сегодня рядом с собою хоть одно доброе, сочувственное лицо?!

Она вдруг уловила осуждающее покашливание матери и спохватилась, что неприлично этак в упор разглядывать будущего мужа. Забежала глазами по сторонам. В углах покоя воткнуто по стреле, а на стрелы накинута соболя шкура и нанизано по калачу. Над дверьми и окнами прибито по кресту. Образа Спаса и Богородицы задернуты убрусами.

Анастасия вспомнила, что образа завешивают, если в покоях творится святотатство или нечто непристойное, и со страху так вонзила ногти в ладони, что едва не вскрикнула.

Наконец она ощутила тишину, воцарившуюся вокруг, и обнаружила, что все дружки и гости вышли. Государь стоял напротив, в одной рубахе, пугающе высокий и худой, задумчиво пощипывая едва-едва закурчавившийся ус. Анастасия невольно подтянула к подбородку одеяло, но он нахмурился – и руки ее упали.

Сел рядом на постель, провел рукой по лицу девушки, по дрожащим губам. Анастасия поспешно чмокнула его худые, униженные перстнями пальцы – и тотчас застыдилась. Он слабо улыбнулся:

- Совсем позабыл спросить – люб ли я тебе?

Анастасия ощутила, как слезы подкатывают к глазам. Она боялась, до судорог боялась именно его первых слов.

С трудом разомкнула пересохшие губы:

- Люб, государь... господин мой. Люб!

И сразу подумала: надо было назвать его по имени, хотя бы по имени-отчеству, – но пока язык не поворачивался.

- Боишься меня?

- Боюсь.

- А сладко ли тебе меня бояться?

Она заморгала, думая, что ослышалась, но на всякий случай выдохнула:

- Да...

Его глаза блеснули.

- Сейчас еще слаще будет!

Он рывком перевернул Анастасию на живот и задрал рубаху до самой головы. От неожиданности девушка даже не сопротивлась, но вдруг спину ее ожгло болью. Взвизгнула – и умолкла, словно подавившись. Да он бьет ее! Бьет плетью, которую только что, глумливо ухмыляясь, вручил ему Адашев! За что же так-то?!

- Кричи еще! – хрипло приказал муж. – А ну, громче кричи! Кому говорю?!

Анастасия повозила головой по подушке: нет, мол, не стану, хоть ты меня до смерти забей!

Муж опять перевернул ее, теперь уж на спину, грубо растолкал ноги. Анастасия зажмурилась, закусил ладонь – и как раз вовремя, не то уж точно завопила бы от боли, которая пронзила нутро. Царица небесная, да есть ли на свете что-то хуже?!

– Кричи! – хрипло потребовал муж, с силой защемляя пальцами нежную, тонкую кожу на груди.

Анастасия выгнулась дугой, но смолчала, только широко открыла слепые от боли и страха глаза.

Тяжелое мужское тело металось на ней и дергалось, словно царя била падучая. Его горячая щека была притиснута к похолодевшей от слез щеке Анастасии.

Судороги вдруг прекратились, муж глубоко, со всхлипом вздохнул – и затих.

Анастасия перестала дышать, пытаясь уловить дыхание лежащего на ней человека, но кровь так стучала в висках, что она ничего не слышала.

И вдруг морозом обдало тело – из-за двери донесся звучный мужской голос:

– Здоровы ли молодые? Свершилось ли доброе?

Дружка Курбский! По обычаю спрашивает – или издевается?

Царь взвился, будто кнутом ужаленный. Подхватил с полу башмак, сильно швырнул в дверь:

– Пошел вон! Все вон!

Одернул задравшуюся рубаху, упал рядом с распластанной женой.

От двери отдалились осторожные шаги – и стало тихо.

Дружка вышел в соседний покой. Пьяненький князь Юрий Васильевич Глинский помирал со смеху, зажимая рот рукой, чтоб не слышно было пирующим гостям, а

пуще – разгоряченному молодому:

– Каково он тебя? Под руку попал! Теперь знаешь, что такое – ему под руку попасть?

Курбский угрюмо молчал, словно вопрос относился не к нему.

– Чего регочешь? – сердито спросил стоящий у дверей Адашев, убирая руки за спину, чтобы Глинский не приметил: они так и сжимаются в кулаки. – Я ж говорил, еще не время, а ты, князь, свое: иди да иди!

– И впрямь, не время! – поддакнул Григорий Юрьевич Захарьин, дядя царицы, который за те минуты, что молодых оставили одних, чудилось, спал с лица.

– Не бойся, государь на это дело спорый! – хихикнул Глинский. – Сосуд распечатать – ему раз плюнуть. Эх, знали бы вы, сколько девок он уже перепортил, даром что из отрочьих лет только вышел! Но вот чего он не любил – это когда печать уже до него была сорвана...

Юрий Васильевич многозначительно умолк.

– Ты что? – Григорий Юрьевич оказался рядом, схватил князя за грудки. – Ты про что? Как смеешь?!

Глинский ужом вывернулся:

– А ну, не распускай ручищи! Белены объелся? Или романеи упился? На кого тянешься? Посади свинью за стол – она и ноги на стол?! Вспомни, кто ты, свинья, – и кто я!

– Ты сам, Юрий Васильевич, романеи упился, – с трудом шевеля побелевшими губами, произнес Курбский, которому невмоготу стало слушать перебранку. – Кого лаешь? Кого свиньями называешь? Родню царицыну?

– А я – родня царева! – куражился Глинский, белыми глазами уставясь на Андрея Михайловича. – И не потерплю, чтоб каждый-всякий... Еще неведомо, какие простыни нам покажут, понял? Молодая молчит как прибитая, а ведь я видел,

видел, как она на тебя поглядывала! Думали, шито-крыто все останется?! Кто о прошлый год на именинах у Бельского орал, мол, слава Богу, что Захарьины дали от ворот поворот – не больно-то их квашня перебродившая мне надобна!

– Откуда взял? – растерялся Курбский. – Тебя же там не было, у Бельского-то.

– Слухом земля полнится! – паясничал Глинский. – Жаль, поздно проведал про сие, но ничего, лучше поздно, чем никогда! Погодите, мы еще выведем вас всех на чистую воду вместе с этой блудливой девкой!

Кулак Курбского звучно влип в его рот – словно кляпом заткнули прохудившуюся бочку. Какое-то мгновение Глинский смотрел на него, выпучив глаза, потом опрокинулся навзничь, сильно стукнувшись затылком об пол.

Курбский испуганно наклонился над ним:

– Как бы не сдох!

– Не велика беда! – пропыхтел взопревший от ярости Григорий Захарьин. – Вот же гнилостный язык, а?! Но ты, брат Андрей Михайлыч, тоже хорош гусь! Как же ты смел про нас такое у Бельского...

– Еще и вы подеритесь, – презрительно обронил Адашев, так и стоявший у притолоки и с любопытством внимавший происходящему. – Самое время лаяться!

Григорий Юрьевич мигом остыл, спохватился, мученически возвел горе? свои темно-голубые, как у всех Захарьиных, глаза:

– Ой, что-то они там и впрямь долго!

Курбский резко отвернулся. Адашев проворно рыскал взглядом от одного к другому и потаенно усмехался в кудрявые усы.

– А ведь тебе не сладко... – бормотал Иван, задумчиво разглядывая окровавленные чресла лежавшей перед ним женщины. – Почему?

- Бо-ольно, - всхлипнула она, пытаюсь унять рыдания, сотрясавшие тело.

- Это и сладко, что больно! - упрямо сказал муж. - Разве нет?

Анастасия повозила головой по подушке: нет, мол, нет!

- Как это? - Иван недоумевающе свел брови. - Почему это? Тут ко мне дядюшка Глинский бабу одну приводил на днях... ну, я тебе скажу, такая блудливая стервь, что на стенку с мужиком готова лезть. А ну, говорит, вдарь мне, да покрепче! Побил для начала, коли просит, а как начал с ней еться, она опять: ожги меня кнутом! Уже на ней живого места не осталось, вся шкура полосатая сделалась, а она аж мычит: ох, мамыньки, сласть какая! Я раньше никогда баб не бил, а тут подумал: дурак, так вот же в чем для них сласть! Ну и тебя... Я ж хотел как лучше для тебя! А ты плачешь...

Анастасия охнула, схватилась за сердце - и зарыдала пуще прежнего.

- Да ты что? - В голосе мужа послышался испуг. - Ладно, понял уже, что у всякой пташки свои замашки. Пальцем не трону, пока не попросишь!

Анастасия все плакала.

Иван осторожно повел ладонью по ее голове, поиграл кончиком косы:

- У тебя даже волосы промокли. Гляди, все покои затопишь. Ну, об чем ты так убиваешься? Сказал же: не трону!

- Значит, - выдохнула она, давясь слезами, - значит, я у тебя не первая?!

От изумления молодой царь даже не решился засмеяться - только слабо улыбнулся, глядя в обиженное лицо жены:

- Первая?! Да ты что, не знаешь, как мужи живут? Это вам, девам, затворничество от веку предписано, а муж, он... Грехи наши, конечно... Грешен я! Вот винюсь перед тобой, да и перед Господом надо бы повиниться. Давно собираюсь в Троице-Сергиев монастырь пешком сходить - пойдешь со мной?

Анастасия робко кивнула, приоткрыв заплаканные глаза. На сердце стало поспокойнее.

– Хотя тебе-то какие грехи замаливать? Невинная ты, белая голубица. – В голосе Ивана зазвенела нежность. – А ведь я знаю, что дева деве рознь! Помнишь, у тебя в дому, когда царские смотрельщики приходили, была такая – чернобровая, верткая, все глазами играла да перед Адашевым подолом крутила?

– Магдалена? То есть Маша? – Анастасия позабыла о боли. – Я ее с тех пор и не видела, и не вспоминала. До нее ли было, тут вся жизнь так завертелась! А что с ней?

– Да ведь Алешка ее к себе забрал, ту девку, – усмехнулся Иван. – Поглянулась она ему – просто спасу нет! Отдал откупное приемным родителям – и увез на коне. Грех, конечно, а все ж поселил в Коломенском – он там дом себе выстроил. Выдаст ее замуж за какого-нибудь дворянишку приближенного... Сам Алешка женится, конечно, на этой Сатиной, которую отец ему высватал, а для сласти будет в Коломенское наведываться.

– Погоди-ка. – Анастасия повернулась на бок, легла поудобнее, забыв даже рубашку одернуть. – Не пойму, откуда ж ты знаешь, как у нас в доме все было? Что Магдалена с Адашева очей не сводила? Это он тебе рассказал?

– Или я слепой? – усмехнулся Иван.

Анастасия так и ахнула:

– Да как же... да что же?.. Монах?!

– Ну да, я там был – в монашеском облачении. – Иван явно наслаждался ее растерянностью. – Кота в мешке покупать не хотел, мне самому надо было на всякую-каждую посмотреть. Тогда и выбрал тебя!

Анастасия глядела широко раскрытыми глазами, словно впервые увидев человека, которому ее отдали в жены. Он, муж ее, хорошо улыбается, глаза у него ясные, серо-зеленые. Взмокшие от пота волосы курчавятся на лбу. Анастасия вспомнила, какая жаркая была у него щека, прижатая к ее щеке, как

билось-дрожало его тело, прижатое к ее телу, – и вдруг засмушалась, опустила глаза. Прислушалась к себе, ловя прежнюю боль, цепляясь за прежнюю обиду, – но не нашла ничего, кроме нетерпеливого трепета.

– Милая, – он осторожно взял ее за руку, прижал к своей щеке. – Ах ты, милая!

Через некоторое время бледный, сдержанный Курбский вышел к гостям и сообщил, что доброе меж молодыми свершилось. Знаки девства царицына были предъявлены свахам и придирчиво ими осмотрены.

Свадьба Ивана Васильевича и Анастасии Романовны состоялась.

3. Страх Божий

После свадьбы, побывав, по обычаю, вместе в мыленке, молодые царь и царица прервали пиры двора и пешком отправились в Троице-Сергиев монастырь, где оставались до первой недели Великого поста, ежедневно молясь над гробом святого Сергия. А когда вернулись, Анастасия постепенно начала осваиваться с новой жизнью.

В Кремле пряничные разноцветные крыши, сахарные точеные столбики на крылечках, крошечные слюдяные, леденцовые оконца, узенькие переходики, крутые лесенки, более похожие на печные лазы. И пахнет здесь печами и пылью.

Поговаривали, будто царский дворец в Коломенском куда уютнее и просторнее. Анастасия очень мечтала оказаться в Коломенском – ведь где-то там и Магдалена! До смерти хотелось увидеться с ней, поболтать, как раньше. Во все время своей замужней жизни Анастасия не видела ни одной прежней подружки. Среди царицына домашнего чина – ближних боярынь и боярышень – Анастасия пока не сыскала наперсницы и начала всерьез задумываться, как бы поменять всех этих важных, надутых, неприятных особ на привычные и дружеские лица. Но с этой просьбой надо было сперва обратиться к мужу, а просьб к нему и так накопилось множество. Дядюшка Григорий Юрьевич и брат Данила просто-таки осаждали ее настойчивыми требованиями мест при дворе для самых дальних,

вроде бы позабытых родичей Захарьиных. Как будто ей было так уж просто обратиться к царю!

То чудилось Анастасии, будто муж младше и беззаботнее ее брата Никиты, то – старее и мудрее самого митрополита Макария. Он играл милостями и опалами, как дитя малое – разноцветными камушками. Он умножал число любимцев, но еще больше наживал себе неприятелей среди отверженных. Он рассыпал во все стороны золото, словно это был желтый, или красный, или белый отборный песок – тот самый, который служители Истопничьей палаты ежедневно подвозили в Кремль с Воробьевых гор и обновляли все дорожки, рассыпая в подсев, через решето, чтобы ложился ровно и чисто. Но порою становился вдруг скуп, начинал кричать, что и Шуйские, и Глинские равно перед ним виновны – расхитили сокровища великих князей, обездолили и его самого, и грядущее потомство, у Шуйского прежде была всего только шуба мухояровая, из самого дешевого суконишка, а теперь вон как разбогател! С чего, как не с ворованного? Надлежит имущество каждого из бояр перетряхнуть хорошенько: не завелось ли лишнего богатства, кое пристало держать лишь в царевых палатах?..

Иногда Иван поражал жену добротой и сердечностью. Сутками не покидал царицыных покоев, лаская и голубя свою «агницу» или пытаясь научить ее играть в свои любимые шахматы, в коих фигурки были выточены из слоновой кости и имели вид казанского воинства, а если даже и срывался на охоту, возвращаясь лишь в полночь-заполночь, то непременно заглядывал в опочивальню жены: не плачет ли? не тошнится?

Тошнилась Анастасия частенько – ведь зачреватела если не с первой, то со второй ночи, и выпадало время, когда свет белый делался ей немил. Иван хоть и косоротился, глядя в ее зеленовато-бледное, потное после приступов рвоты лицо, но был безмерно рад, что вскоре сделается отцом, потому к слабости жены относился терпеливо и приказывал прихотям царицыным всячески потворствовать.

...Так миновала весна, а в апреле начала гореть Москва. С беспощадной внезапностью чуть ли не в один день запылал Китай-город. От десятков лавок с богатым товаром, Богоявленской обители и множества домов, лежащих от Ильинских ворот до самого Кремля и Москвы-реки, остались одни черные уголья. Густой, жирный дым проник в царские палаты, закоптив окна, стены и даже образа, которые перед Святой как раз начали мыть грецким мылом, посредством

грецких же губок, и подновлять.

Во дворце приключилась суматоха. Кто настаивал, что царь должен немедля покинуть Кремль, кто надеялся на скорое прекращение пожара. Митрополит Макарий был против того, чтобы оставлять столицу, и отослал гонцов во все церкви: ходить кругом огня с крестными ходами, неустанно служить молебны.

Иван, Анастасия и младший князь Юрий тоже прилежно били поклоны пред образами. Однако, когда высоченная пороховая башня взлетела от огня на воздух и, разрушив городскую стену, упала в реку, запрудив ее своими обломками, царь понял, что не от всякого грома открестишься, и хмуро велел собирать пожитки и перебираться на Воробьевы горы, в тамошний летний дворец.

Там Анастасия скучала отчаянно – молилась с утра до вечера либо мусолила страницы любимой книжки про Петра и Февронию. Ну и шила жемчугом – положила себе непременно закончить до родин покров Грузинской Божьей Матери. Дни тянулись медлительные, сонные, тягота подкатывала под сердце... Настал июнь. И тут опять загорелась Москва!

Ветер поднялся с утра, но беды от него никто не ждал. К полудню, однако, разошлась страшная буря. Словно гром с ясного неба грянул – вспыхнуло на Арбатской улице, в маленькой Воздвиженской церкви. В какие-то минуты от нее не осталось и следа. Пока созывали народ, пока охали да молились, ветер разнес клочья пламени по окрестностям, и огонь полился рекою на запад, спалив все, что попадалось на пути, до самой Москвы-реки, у Семчинского сельца. Где-то что-то пытались погасить, но все было бессмысленно: немедленно загоралось в десятке других мест. Люди метались по улицам, уже бросив бороться с пламенем, пытаясь найти спасение, однако попадали в огненное кольцо и не могли отыскать выхода. Вспыхнул Кремль, Китай-город, Большой посад. Москва сделалась одним огромным костром.

В Кремле загорелась крыша на царском дворе, казенный двор и Благовещенский собор. Занялись и пылали невозбранно Оружейная палата с оружием и Постельная палата – с казною. Полыхали двор митрополичий, Вознесенский и Чудов монастыри. Все это сгорело дотла, и среди прочего – Деисус работы Андрея Рублева. Огонь врвался даже в каменные церкви и пожирал иконостасы

и то добро, которое в начале пожара потащили прятать в церкви, надеясь на крепость стен.

А пожар не унимался, искал себе новой и новой поживы. В Китай-городе сгорели все лавки с товаром и все дворы, за городом – большой посад на Неглинной. Рождественка выгорела до Никольского монастыря, Мясницкая – до церкви Святого Флора, Покровка – до церкви Святого Василия. Пожар продолжался, пока было чему гореть: около десяти часов. И люди, люди гибли в пламени целыми семьями! Когда потом стали считать да прикидывать, кто жив, а кто умер, выяснилось, что сгорело 1700 человек.

* * *

Царь ринулся было в столицу, но вскоре понял, что не проедет. Пришлось повернуть в Воробьево. Стоял на крутояре, глядя на сплошное дымное марево, из которого там и сям вздымались столбы огня. Тихо плакала рядом царица, привычно прикрывая лицо от мужчин; жался к ногам и, против обыкновения, помалкивал младший брат.

Сверху видна была горстка людей, вырвавшихся из огненного капкана и бесцельно тащущихся куда глаза глядят. Если кто намеревался приблизиться к Воробьеву, стража таких заворачивала.

– Государь! – Снизу, из-под горы, вырвался закопченный, грязный, как и все прочие, Вешняков; пал на колени. – Дозволь... сказать... – Он задышался от бега. – Там до тебя человек, святой человек! Вели пропустить!

Незнакомец поднимался на холм так легко, точно бы его несли святые небесные силы. Черные долгополые одеяния его вились за спиной, и чудилось, извергли посланца клубы того самого дыма, который заволок всю низину и самый город. Смоляные волосы и борода, сверкающие черные глаза и смертельно-бледное лицо... Трепет прошел по толпе, и Анастасия ощутила, как вздрогнул Иван, словно у него вдруг подкосились ноги, когда его ожег взор этих неистовых очей, а указующий перст вонзился в него, подобно стреле:

– Ты... сын греха, грешник! Вот твоя расплата!

– Расплата? – резко выкрикнул Иван.

– Гнев Господень опять возгорелся. Ведь твой отец и мать – всем известно, скольких они убили. Через попрание закона и похоть родилась жестокость. Точно так же и дед твой с бабкой твоей гречанкой. Посеял Господь скверные навыки в добром роде русских князей с помощью их жен-колдуний. Кровь гнилая ударяет в голову потомства и лишает милосердия и здравого смысла, как лишила тебя. Вознеслось твое сердце до тщеславия, возгордилось на погибель твою!

У Анастасии закружилась голова. Она уже успела узнать: среди многих способов заставить царя моментально лишиться рассудка и впасть в нерассуждающую ярость наивернейший – намекнуть на его происхождение и грехи его предков. Все эти разговоры о том, как дед Иван III Васильевич уничтожил сына своего от первого брака, Ивана Молодого, а потом и сына его Димитрия, законного наследника престола; о пагубном влиянии жен-инозенок, особенно Софьи Палеолог; об отце его Василии Ивановиче, который ради брака с Еленой Глинской отверг законную супругу свою Соломонию – якобы из-за ее бесплодия; о самой Елене, не щадившей ни близких, ни далеких, ни врагов, ни друзей, ни даже собственной родни, когда слышала от них хоть слово осуждающее и противное... Если незнакомец сейчас поведет такие речи, раздраженный, потерявший последнее самообладание Иван удавит его своими руками!

Однако Иван не сделал ни шагу, не сказал ни слова, только два или три раза подряд сильно отер лицо, словно его прошибло болезненным потом.

– О нет, не токмо лишь от злокозненной руки загорелась столица твоя. Вспомни священные слова: «Поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь повядающий; горящие угли сыпались от Него; наклонил Он небеса и сошел; и мрак под ногами Его...»

Черноризец вещал, однако голос его уже не сек огненным мечом, а окроплял благодетельной влагою. Сморщенное от ужаса и потрясения лицо Ивана смягчилось, разгладилось.

Анастасии тоже стало легче дышать. Она спохватилась, что ее по-прежнему поддерживает кто-то, и покосилась на этого человека. Рядом стоял князь Курбский, и сердце Анастасии вдруг сжалось. Она чинно отстранилась, сохранив

на лице спокойствие, которого отнюдь не было в душе.

– Сердце царя – в руке Господа, – провозгласил монах, и в тишине стало слышно, с каким глубоким облегчением вздохнул царь оттого, что этот жгучий, бичующий голос смягчился. Так ребенок вздыхает облегченно, когда видит, что суровый отец отбросил вицу[4 - Прут.], которой охаживал неразумное чадо. – Что город разрушенный без стен – то человек, не владеющий духом своим. Жертва Богу – дух сокрушенный. Да живет душа твоя, сын мой!

Он умолк. Мгновение Иван смотрел на него с детским слепым восторгом, потом прошелестел пересохшими губами:

– Кто ты?

– Сильвестр из Новгорода. Пришел служить тебе, государь, в трудный час, в годину испытаний.

– Служить, вразумлять, вдохновлять! – воскликнул Иван, глядя на черноризца снизу вверх, хотя они были одного роста. Впрочем, рядом со статным, широкоплечим Сильвестром молодой царь казался худощавым юнцом-переростком. – Станешь моим духовником! Будешь служить в Благовещенском соборе!

– Собор сгорел, государь, – отрезвляюще проскрипел благовещенский протопоп Федор Бармин, до глубины души оскорбленный этой внезапной отставкою, напоминающей плевков в лицо.

Он знал за своим духовным сыном эту слабость перед ярким, выразительным словом, податливость на внушительные речи, особенно в обстоятельствах, которые подавляют человека и заставляют его призывать на помощь вышние силы. Иван даже пропустил мимо ушей, что поразивший его воображение Сильвестр явился из ненавистного Новгорода, не подумал, что он и прежде мелькал в Москве, освобождая из заточения Владимира Старицкого, который, наущаемый матерью, никогда не переставал мечтать о престоле. Все, все забыл Иван и готов предать душу в его, вполне возможно, нечистые руки!

Бармин хотел сказать об этом, однако заметил, что фанатичный, опасный огонь горел не только в очах царя. Так же пылали глаза Алексея и Данилы Адашевых,

Курбского, Вешнякова – да почти всех собравшихся. Даже малоумный князь Юрий едва не прыгал от восторга, хотя вряд ли понял хоть единое слово Сильвестра. Даже скромница Анастасия тихонько утирала блаженные слезы!

* * *

Заговорившись с Сильвестром и молодежью из своего окружения далеко за полночь, измученный впечатлениями предыдущего дня, Иван Васильевич наутро не захотел срываться в Москву – послал ближних бояр. Провести первые расспросы в народе отряжены были Федор Бармин, которому царь по-прежнему верил пуще всех остальных, а также рекомендованные Алексеем Адашевым боярин князь Федор Скопин-Шуйский, Юрий Темкин и Иван Петрович Челяднин.

Однако же дознаватели к вечеру не вернулись, а прислали гонца с известием: расследование затягивается на день или два, и царя просят в Москву пока не спешить по причине невыносимости обитания в горелом городе. Что же касается обстоятельств дела, кое им предписано разобрать, то безусловно ясно одно: город подожгли посредством волшебства, и немало отыскано людей, выдавших чародеев, которые вынимали у мертвых сердца, мочили их в воде, а потом, глухими ночами, кропили этой водою по улицам – вот Москва и сгорела. Почему видцы прежде не донесли о злобном умысле? Да потому, что боялись могущественных чародеев, ибо стоят они у трона близко – ближе некуда!

К полудню царский поезд показался на еще курящихся дымом московских улицах. Хотя от улиц не осталось и следа – так, тропочки протоптаны между нагромождениями обгорелых бревен. Более или менее расчищено было только в Кремле. Поглядев на картину разрушения, Иван приуныл и тотчас приказал отстроить себе новый дворец вне Кремля, за Неглинной, на Воздвиженке, против кремлевских Ризоположенных ворот. Ну и восстанавливать сгоревшие палаты велел приступать незамедлительно. Увлечшись распоряжениями, он, кажется, позабыл, зачем приехал в Москву, и немало удивился, увидав около Успенского собора толпу черного люда.

Первые ряды повалились на колени, кланялись в землю. Задние стояли молча, только слышалось тяжелое дыхание да измученные глаза светились на измазанных копотью лицах. Горько, невыносимо пахло гарью.

– Ну, что? – неохотно выкрикнул царь. – Кто поджигал Москву?

В первых рядах поднялись с колен три-четыре человека – это были главные видцы. Глядя на государя с той же опаскою, с какой он смотрел на них, забубнили вразнобой, путаясь от волнения в словах:

– Чародеи! Чародеи зажигали!

– Ездили чародеи по улицам, волхвовали!..

– Слышал я эти байки про чародеев, – сердито воскликнул царь. – Да кто же они? Докажите на них!

– Докажу! – решившись, выкрикнул донельзя исхудалый мужичонка. – Княгиня Анна Глинская со своими детьми волхвовала!

И, словно с них сорвали незримые путы, вновь закричали наперебой все видцы:

– Вынимала княгиня сердца человеческие, да клала их в воду, да тою водой, езда по Москве, дома кропила. Оттого Москва и выгорела! Отдай, государь, нам Глинских на расправу!

– Да они без ума! – ошеломленно выкрикнул Юрий Васильевич Глинский, успевший подняться на крыльцо собора. – Как могла моя мать волхвовать, когда она уже месяц с братом Михаилом во Ржеве?!

Худой мужичонка растерянно захлопал глазами, явно не зная, что на это отвечать, однако вперед вышел крепкий дядька с умным и хитрым лицом.

– А так и могла, что волхвовала она еще накануне первого пожара! – веско заявил он. – Я, дьяк Шемурын, свидетельствую, что сам это видел, и Фимка, дочка моя! Пожары оттого и не гаснут, что чародеи безнаказанные ушли. Скрылась княгиня в своем Ржеве с сыновьями-пособниками, а мы тут... без крова, без куска хлеба... У меня жена сгорела, сын меньшей!

Завыла, застонала и толпа: не было на площади человека, который не лишился бы в огне близких!

– Смотрите! – вдруг сообразил кто-то в толпе. – Да ведь не все Глинские во Ржев ушли! Вон он, Глинский-то князь! Вон стоит, ухмыляется!

Юрий Васильевич испуганно схватился за лицо, словно проверяя, не прокралась ли на него предательская улыбка. Мышцы были так сведены судорогой, что он с трудом вытолкнул из себя слова:

– Клевета! Наговор! Не верьте им!

Голос его сорвался на слабое сипение, да и кричи он громом, никто не услышал бы, такой ропот поднялся на площади, такой сделался оглушительный крик. Обтекая всадников и едва не сшибая крепконогих коней, люди рванулись к крыльцу Успенского собора. Иван вскинул руки, пытаясь остановить их, но проще было бы остановить смерч.

Все дальнейшее свершилось мгновенно.

Глинский попятился, прынул в приделы храма, забился под иконы, однако это его не спасло. Князя вытащили из угла и, сгрудившись напротив митрополичьего места, в минуту забили до смерти.

– Анну Глинскую нам выдайте! – редела толпа. – Мы во Ржев пойдем! Дайте нам Анну-ведьму с Михаилом!

Чудилось, еще минута – и озверелая чернь набросится на царя, но тут не оплошал Данила Адашев: пробился сквозь вал народный, провел за собой отставших ратников и копейщиков. Когда наконец-то оттолкнули очумелых людей от царя, на мостовой остались несколько трупов, и затоптанных, и проколотых копьями.

Иван торопливо повернул коня и погнал его из города. Свита летела за ним, как ворох палых листьев, подхваченных вихрем.

На скаку Алексей Адашев успел одобрительно похлопать брата по плечу, и обоих осенил благосклонным взором своих черных очей Сильвестр, так ловко державшийся в седле, словно был он воином, а не монахом.

Анастасия, конечно, в Москву не ездила – осталась в Воробьеве и о случившемся узнала лишь поздно вечером, когда все вернулись и к ней пробрался ошалелый брат Данила.

Он был вне себя – не то от восторга, не то от ужаса, – что вот так, в одночасье, в какое-то мгновение, свершилась заветная мечта всех Захарьиных. Подножие трона отныне было свободно от Глинских! И, конечно, Данила не уставал славить Сильвестра, чье появление преобразило царя и принесло баснословную удачу родичам царицы.

Можно подумать, Сильвестр радел за них!

4. Казанская история

Дочь Анастасии и Ивана, первенец их, родилась в середине ноября – на две недели позже срока, – а к вечеру того же дня и умерла. Анастасия рожала очень тяжело, в муках и криках, потому что дитя шло вперед ножками. Извергнув плод, она и вовсе обеспамятела, поэтому не видела дочку живую, не слышала даже ее голоса.

Государь, передали Анастасии, тоже был в большой и глубокой тоске. Но, поскольку в комнату, где разрешилась от бремени женщина, три дня никому, кроме мамок и нянек, не дозволялось входить, мужа она и не ждала, пока не вымыли родильную и не прочитали во всех углах очистительную молитву. Ей же самой еще шесть недель нельзя было показаться на люди, даже присутствовать на венчании князя Юрия Васильевича с Юлианией Палецкой.

Конечно, жених был еще совсем молод, четырнадцати только лет, невеста лишь на год постарше, и вполне можно было обождать со свадьбой хотя бы до будущей осени. Однако Иван уже не мог противиться настоятельным просьбам брата, который до того боялся, что князь Дмитрий Федорович отдаст дочку за другого, что больше ни о чем не мог говорить, плакал, надоедал всем и даже едва не разбил голову о стену, когда Иван заикнулся об отсрочке свадьбы. Малоумный с рождения, Юрушка от тревоги, что Юлиания ему не достанется, еще более поглупел. В данный ему отцом Углич и другие свои уделы носа не

казал, но Иван рассчитывал, что, женившись, брат хоть изредка будет появляться в своих вотчинах. Надеялся он, впрочем, больше на Юлианию, которая, несмотря на юные годы, славилась своей рассудительностью и красотой.

Неведомо почему, Анастасия с неприязнью относилась к Палецкой и не упускала случая поехидничать над ней. Теперь, когда всякое лыко было в строку, она суеверно думала, что смерть дочери была карой Господней за насмешки над добродетельной Юлианией. Господь – он иной раз бывает до того мелочен, что даже досада берет. Распутникам разным все с рук сходит, а стоит царице мысленно согрешить – тут же и грянул гром небесный. Ее дочка умерла, на свет белый не полюбовавшись, а вон, по слухам, Магдалена в Коломенском родила сына... Пусть и значится он под какой-то там благопристойной фамилией, но каждому известно, что – сын Адашева. Вот уж где грех так грех! Однако же Адашеву все сходит с рук. И Сильвестр его не попрекает, а царя кусательными словами просто-таки изгрыз: потому, дескать, погибло твое первое дитяtko, что зачато оно было в те дни, когда зачатие запрещено и блуд греховен.

Сильвестр уверяет: по воскресеньям, в праздники Господни, и в среду, и в пятницу, и в Святой пост, и в Богородицын день следует пребывать в чистоте и отказываться от блуда. Однако же свадьбу государя с Анастасией играли в субботу, и мыслимо ли было им «воздерживаться от блуда» в воскресенье – то есть на другой же день после свадьбы! Для чего тогда стелили им постель на снопах и семи перинах, как не для чадородия?

Она высказала это мужу, а тот лишь печально усмехнулся и вновь отвечивал словами Сильвестра:

– Ум женский нетверд, аки храм непокровен; аки оплот неокопан до ветру стоит, так и мудрость женская до прелестного глаголанья и до сладкого увещания тверда есть!

А потом сообщил, что Сильвестр, оказывается, уже который год пишет некую книгу под названием «Домострой» и в книге той научает мужчин и женщин, как христианам веровать во святую Троицу и Пречистую Богородицу, и в крест Христов, и святым небесным бесплотным силам, и всем святым и как поклоняться честным и святым мощам; как любить Бога всей душой и страх Божий иметь; как царя и князя чтить и повиноваться им во всем и правдою служить; как мужу с женою и домочадцами у себя дома и в церкви молиться, как

чистоту хранить и никакого зла не творить; как почитать отцов своих духовных и повиноваться им; как детей своих воспитать в страхе Божиим – и многое, многое другое, вплоть до того, как всякую одежду жене носить и сохранить, как порядок в избе навести хорошо и чисто и припасы домашние впрок запасть.

К Сильвестру, слов нет, Анастасия относилась с глубоким почтением и верила в его благую силу. Супруг-государь тоже осознал, что прежде жил несправедливо, пожелал уничтожить кривоверов, разорить неправды и утолить вражду. Он сам рассказывал Анастасии, как бил себя в грудь и принародно каялся на Лобном месте:

– Нельзя ни описать, ни языком человеческим пересказать всего того, что я сделал дурного по грехам молодости моей. Прежде всего смирил меня Бог, отнял у меня отца, а у вас пастыря и заступника; бояре и вельможи, показывая вид, что мне доброхотствуют, а на самом деле доискиваясь самовластия, в помрачении ума своего дерзнули схватить и умертвить братьев отца моего. По смерти матери моей бояре самовластно владели царством; по моим грехам, сиротству и молодости много людей погибло в междоусобной брани. А я возрастал в небрежении, без наставлений, навык злокозненным обычаям боярским, и с того времени до сих пор сколько согрешил я перед Богом и сколько казней послал на вас Бог! Мы не раз покушались отомстить врагам своим, но все безуспешно; не понимал я, что Господь наказывает меня великими казнями, и не покаялся, но сам угнетал бедных христиан всяким насилием. Господь наказывал меня за грехи то потопом, то мором, а все я не каялся, но наконец Бог послал великие пожары, и вошел страх в душу мою и трепет в кости мои, смирился дух мой, умилился я и познал свои согрешения...

Возможно, царь и умилился, однако Анастасия – отнюдь нет. Она гораздо лучше понимала своего мужа, чем это казалось ему. Иван с самого детства вынужден был защищать себя в собственных глазах и перед другими людьми – не оставил этой привычки, и сделавшись самовластным государем. Вдохновенный и грозный Сильвестр с его неумолимыми жизненными правилами был просто необходим Ивану, который, обладая безмерной властью, иногда начинал жаждать уничтожения, какое испытывал в детстве!

Точно так же, как в прежние времена он менял забавы или бросался в царской библиотеке от книги к книге, не умея ни одну прочитать до конца, вникнуть в содержание, а лишь набираясь громких изречений, так же менял Иван свои взрослые привязанности. Прежде он безмерно доверял боярам, полагался на

свою родню – теперь хотел как можно скорее покончить с боярским правлением и разделить ответственность государеву даже с самыми незначительными людьми, порою не глядя на их происхождение.

Вот хотя бы Алексей Адашев. На место родовитых Шуйских, Бельских и Глинских поставил царь человека, взятого из самой бедной и незначительной среды. И во всеуслышание заявил:

– Поручаю тебе принимать челобитные от бедных и обиженных и разбирать их внимательно. Не бойся сильных и славных, похитивших почести и губящих своим насилием бедных и немощных; не смотри и на ложные слезы бедного, клеветующего на богатых, ложными слезами хотящего быть правым, – но все рассматривай внимательно и приноси к нам истину, боясь суда.

В любимой «Повести о Петре и Февронии» Анастасия читала и многократно перечитывала главу о том, как муромские князья, изгнанные из родного удела, плыли по реке. Спутник их, имевший при себе и жену свою, возжелал княгиню Февронию; она же, уразумев злой помысел его, приказала: «Почерпни воды из реки с этой и другой стороны судна»; он послушался; и Феврония повелела ему испить воды. Он выпил. Она же, блаженная и премудрая княгиня, сказала: «Одинакова ли вода или с одного борта сладчайшая?» Он ответил: «Одинакова, госпожа, вода». Тогда же она изрекла: «Таково же одинаково есть и естество женское; зачем же, свою жену оставив, чужую возжелал?..»

Анастасия часто размышляла о природе мужской и вековечной жажде испить «воды из реки с этой и другой стороны судна». Они все греховодники, конечно, но ее Иванушка... Она и помыслить не могла об измене супруга и заранее знала, что погибнет, изведется от ревности, услышав о таком. По счастью, либо Иван оставался ей верен, либо молва была милосердна к царице. Однако муки ревности ей все же приходилось испытывать, и ревновала она не к чему другому, как к тому влиянию, какое имели на ее супруга двое премудрых и прехитрых мужей – Сильвестр и Алексей Адашев.

Как ни тщился государь следовать наставлениям многомудрого и сурового наставника и восходить на ложе к супруге только в разрешенные дни, брак их по-прежнему не был благословлен детьми. После бедняжки Анны за три года родились еще две дочери, Мария и Ефросинья, но и они умерли во младенчестве.

Царь был непрестанно занят, горе свое в трудах и заботах развеивал, отстраивая Москву после пожара, а царице только и оставалось, что сидеть, подпершись локотком, да плакать, и частенько ей казалось, что выплакала она со слезами всю свою былую красоту.

А в последнее время к ее неизбывному материнскому горю прибавились еще и новые, страшные беспокойства: задумал государь идти воевать Казанское царство!

* * *

Дважды, в 1548 и 1550 годах, ходил Иван Васильевич на Казань. Он выступал поздно осенью, и его заставляла зима. Войско вязло в снегу. Пушки тонули в Волге. Служилые люди спорили из-за первенства перед царем и забывали, зачем вышли в путь: не богатства нажить, а разбить поганых татар!

Анастасия, провожая его в оба похода, недоумевала: зачем идти в заведомую распутицу? Даже родня к родне в такую пору не ездит, ждет либо твердого санного пути, либо летней суши. А уж на врага и подавно нельзя трогаться по непролазной грязи!

Дважды чуть ли не со слезами бессилия царь приказывал своему войску отступить, а по следу его шли одерзевшие казанцы и опустошали русскую землю.

Поговаривали в Москве, что третьего похода не будет, однако весной 1552 года сборы начались. Выступить намечено было на июль месяц.

Анастасии, как всякой жене, хотелось вцепиться в мужа обеими руками и никуда не пускать. Все большие и малые обиды были забыты, и даже горе от потери дочерей не казалось страшнее разлуки с государем Иванушкой. Вдобавок она снова была беременна. По всем приметам выходило, что на сей раз родится сын. Первое дело, не тошнило ни минуточки, не то что когда дочерей носила! В те поры все нутро наизнанку выворачивало. Теперь же только оттого, что месячные дни прекратились, и поняла, что снова сделалась непраздная. Ела она много и охотно. Кроме того, бабки щупали царицу и сообщили: плод лежит на правой стороне, и, когда государыня сидит, она правую ножку вперед протягивает.

Мальчик будет наверняка. Если бы левую протягивала, была бы девочка. И плод лежал бы на левой стороне.

– Тебе когда рожать? В октябре? – спрашивал Иван Васильевич жену. – Ну и не тревожься – вернемся мы в октябре. Ежели же я дождусь твоих родин и выйду по осени, опять в снегу и грязи завязнем.

13 августа русское войско миновало Свияжск, где уже два года был воеводою Игнатий Вешняков, а еще через несколько дней встало под стенами Казани. Татары не сомневались, что и этот поход московского царя окончится провалом, тем паче что первые атаки русских отбили без особого труда.

Не обошлось и без сарацинского колдовства. Осаждающие ежедневно видели: чуть только станет восходить солнце, на стенах города появляются то мурзы, то старухи казанские и начинают выкрикивать сатанинские словеса, непристойно кружась и размахивая подолами в сторону русского войска. И хотя бы день начинался вполне ясно, немедленно поднимается ветер и припускает такой дождь, что вся земля обращалась в кашу. Не зря прежде на месте Казани змеиное болото лежало!

В конце концов колдовство татарское дало свои плоды: в сентябре разразилась страшная буря. Шатры в русском лагере разбросало по земле. На Волге поднялся настоящий шторм и разбил лодки с провизией для войска. Осажденные ликовали и с высоты своих укрепленных стен насмехались над «белым царем». Поднимая одежды, они поворачивались спиной к русским и с непристойными телодвижениями вопили: «Смотри, царь Иван! Вот как ты возьмешь Казань!»

После крестного хода языческие чары тотчас исчезли. Установилась хорошая погода. Артиллерия смогла выбраться из непролазной грязи, подойти на нужное расстояние и беспрепятственно обстреливать стены Казани.

Однако Иван Васильевич, как и всякий русский, знал: на Бога надейся, а сам не плошай, – а потому придумана была такая хитрость. Как-то раз все войско отошло от города, как если бы решило снять осаду. Татары вздохнули с облегчением и устроили огромный пир. Весь город пил допьяна. А в это время взрывщики, руководимые князем Михаилом Воротынским, засыпали во рвы под крепостными стенами порох.

Загрохотал подземный гром, и вырвался огонь. Городские стены сокрушились, и едва ли не весь город рухнул до основания. Пламя свилось клубом и поднялось в небеса. Защитники города, находившиеся на стенах, почти все были убиты, а жители падали на землю без памяти, думая, что уже настал конец света.

Московские знамена развевались над татарскими укреплениями. А на том месте, где прежде стоял ханский штандарт, теперь был воздвигнут победоносный чудотворный крест. Здесь должна была появиться церковь, и уже через два дня ее выстроили и освятили.

Решено было, что в Казани останутся правители Александр Борисович Горбатый и Василий Семенович Серебряный, а государь поспешил в Москву. Царица вот-вот должна была родить, и никто не сомневался: победа будет увенчана рождением царевича.

* * *

Князь Андрей Михайлович Курбский, командовавший при взятии Казани правой рукой русской армии и стяжавший себе большую славу, вдобавок разогнал луговую черемису, враждебную к русским, и был назначен воеводой. Его полк тоже двинулся в Москву в сопровождении заваленных добром подвод.

Позади обоза тянулась вереница пленных татар. Их не трогали. Русское сердце отходчиво, никому не хотелось браниться с обездоленными бабами и детишками! Особо жалостливые охотно тетешкали детей, а заядлые бабники уже благосклонно поглядывали на красивых татарок. Однако некоторых воинов еще пьянил угар боя, они не вполне насладились мезтью, и особенно злы были потерявшие в бою братьев, отцов или сыновей. От таких «удальцов» приходилось даже охранять пленных.

Пуще других лютовал конный ратник Тимофей Челубеев. Всем было известно, что во время татарского набега много лет назад у него угнали в полон молодую жену, и до Тимофея доходил слух, что она в Казани, у какого-то богатого татарина.

Когда дым боя рассеялся и победители вполне почувствовали себя хозяевами в захваченном городе, удалось найти в развалинах нескольких русских пленников.

От них Тимофей узнал, его жену, бывшую редкостной красоты, купил на торгах и взял к себе в гарем знатный бек. Спустя год она умерла, родив господину дочь. Ничего о судьбе этого ребенка русская рабыня не знала, поскольку ее продали другому хозяину.

Среди пленных и впрямь было много детей-полукровок. Русские женщины, взятые силой и принужденные рожать от своих супостатов, и стыдились этих детей, и жалели их. Тимофей Челубеев глядел на них с нескрываемой ненавистью.

О его лютости знали и пленные татары, и освобожденные русские, и все равно боялись попасть мстителю под горячую руку.

И вот однажды, когда дошли до озера Кабан, случилась страшная история. Видимо, больная душа Тимофея в тот день пуще прежнего не давала ему покоя. Не в добрый час попала ему на глаза Фатима – девушка лет четырнадцати необыкновенной красоты. Можно было без сомнения сказать, что в ее жилах течет русская кровь: чернобровая, смуглая, с тонкими чертами лица, которыми иногда отличаются восточные женщины, она обладала ярко-синими глазами и роскошной светло-русой косой. Ни о матери своей, ни об отце Фатима ничего не знала: подобрала ее из милости и воспитала богатая вдова, которой Аллах не дал своих детей и которая была настолько очарована красивым ребенком, что не думала о происхождении девочки.

И вот когда дошли до озера и остановились напоить коней, Тимофей вдруг кинулся к веренице пленников, схватил на руки Фатиму и бросился с ней к озеру. На мгновение все оцепенели, и Тимофей уже вбежал в студёные волны по колено, когда люди спохватились и стали кричать, что, мол, он делает.

– Хочу узнать, в самом ли деле это русская дочь! – воскликнул в ответ Тимофей. – Тут кое-кто позабыл стоны сестер и кровь братьев своих во Христе, намерен с басурманкой под венец пойти. Так я хочу всем показать, что она – отродье вражье!

Мало кто понял смысл его отрывистых криков, однако князь Андрей Михайлович так и ахнул. Он отлично знал, что озеро Кабан считается губительным для русских людей. Не раз жестокие татары развлекались, сталкивая пленных в воду, – и их сразу тянуло ко дну. Сами казанцы могли прыгать в воду сколько

душе угодно и беспрепятственно выходили потом на берег.

– Но ведь если Фатима русская, она потонет! Лишь татарам озеро Кабан безопасно! – закричал Курбский, исполнившись жалости к несчастной девушке и пытаясь воззвать к разуму Тимофея.

Однако это было бесполезно. Ратник уже по пояс погрузился в воду, осторожно нащупывая ногой дно, и никто не осмелился прийти на помощь к Фатиме, которая сначала кричала, а потом лишилась сознания от страха. И тогда впереди угрожающе вспучилась вода...

Люди на берегу опускались на колени, молились. Все понимали, что Тимофей решил погубить Фатиму и умереть. И тогда Курбский направил коня в воду. Он сам не знал, почему отважился на этот отчаянный поступок! Потом, год спустя, Сильвестр скажет, что на это его надоумил Бог. «А может быть, и дьявол», – ответит ему князь Андрей Михайлович.

Так или иначе, по Господнему или вражьему наущению, он это сделал. Вздывая брызги, с отчаянным ржанием конь князя ринулся в волны, и Курбский вырвал девушку из рук Тимофея. Это оказалось нетрудно сделать, потому что Челубееву было уже не до пленницы. В это самое время страшная сила потянула его ко дну, он канул – и не всплыл ни разу.

– Прими, Господи, душу раба твоего! – дрожащими губами прошептал Курбский и передал Фатиму подбежавшим женщинам.

Она скоро пришла в себя и стала спрашивать, каким образом спаслась; все указывали на Курбского. В легкой кольчуге, без шелома, князь стоял на взгорке и задумчиво смотрел на коварное озеро. Высокий, могучий, с открытым лбом, гордым взором и величавой повадкой, Андрей Михайлович был необычайно красив. Несчастной Фатиме он показался воплощением Бога на земле. Она глаз не осмеливалась поднять выше гривы серого, в черных яблоках, его жеребца под красным сафьяновым седлом с позолоченной лукою. Фатима припала к серебряному стремени, покрывала сапоги князя слезами и поцелуями, клялась служить ему отныне и вовеки и отдать за него жизнь по первому его слову.

Конь волновался, переступал с ноги на ногу, потряхивал бляшками и бубенчиками, которые во множестве украшали сбрую. Недоброе чуял?

Курбский усмирил его, потом взял Фатиму двумя пальцами за подбородок и долго смотрел в восхищенное полудетское лицо. Что увиделось ему в этих синих, наполненных слезами глазах? Бог весть... И Бог весть почему князь вдруг сказал:

– Я окрещу тебя и подарю царице. Служи ей и люби ее, как ты хочешь служить мне.

Фатима не понимала. Когда ей перетолмачили слова князя, она склонилась в знак того, что покоряется его воле, однако в голосе звучало упорство:

– Отдай меня кому хочешь, но служить я буду только тебе!

Вскоре войско двинулось дальше. Во Владимире русские полки встретила радостная весть: как раз на день Дмитрия Солунского[5 - 8 ноября (26 октября по старому стилю).] царица родила сына!

– Жена подарок сделала и мне, и себе к своим именинам! – радостно твердил Иван Васильевич: ведь именины у царицы были 28 октября, на Анастасию Римлянку, или, по-русски, Настасью-овчарницу.

Когда дозволено было посетить молодую мать и поздравить ее, все преподносили богатые подарки и Анастасии Романовне, и младенцу. Князь Курбский среди всего прочего подарил царице очаровательную синеглазую и золотоволосую смуглянку по имени Настя. Это была Фатима, окрещенная после рождения царевича в честь святой мученицы Анастасии и самой царицы.

Анастасия Романовна пришла в восторг от ее красоты, всплакнула над печальной историей Тимофея Челубеева, сердечно поблагодарила князя Курбского – и отдала девушку в помощницы мамкам и нянькам маленького царевича.

Так победно и радостно завершилась казанская история.

5. Антонов огонь

После тяжелой борьбы с Казанью покорение Астрахани прошло, чудилось Анастасии, почти не приметно. Казалось бы, время настало – живи да радуйся! Однако Анастасия чувствовала себя плохо. Нет, сама-то она была здорова, а если и затаились в теле какие-то хвори, то при встрече с государем Иванушкой все сразу исцелилось. Сердце по ребеночку болело и тревожилось. Хоть мамок и нянек у царевича не счесть, но не зря говорится, что у семи нянек дитя без глаза. Царевич рос медленно, был маленьким, болезненным, а уж до чего крикливым – просто не описать словами.

Сначала кормилицы и нянюшки на стенки лезли, когда царица отдала им Настю-Фатиму, и нипочем не подпускали ее к царевичу. Держали на грязной работе. Но вот как-то раз в тяжелую минуту, когда все уже с ног падали от усталости, а Митенька-царевич никак не унимался (Анастасия строго-настрого запрещала давать ему маковый сок для утишения крика, опасаясь, что сын слишком слаб и может не проснуться), позволили-таки басурманке взять на руки царево дитя. И в то же мгновение оно перестало плакать, словно по волшебству! Митя уснул и крепко спал до утра.

Решили, что это случайность; однако и в другой, и в третий раз младенчик успокаивался на руках у Насти.

Вдобавок ко всему новая нянюшка рассказала старшей мамке о том, что в Казани болезненных ребятишек прикармливают козьим молоком – не коровьим, нет, оно тяжело для маленького животика, а именно козьим, разведя его теплой водой. Дали такого молока Мите – и он поздоровел на глазах. Старшая мамка, Ефросинья Головина, была женщина добрая. Она не замедлила рассказать все царице, и Анастасия осталась очень довольна.

Шло время. Вот и Рождество осталось позади, зима катилась к закату, хотя еще цеплялась за жизнь последними морозами и метелями. Мужа Анастасия видела

теперь мало, только ночью на супружеском ложе, которое он продолжал делить с ней, почти не отдаваясь в свою опочивальню. Целые дни царь проводил в Малой избе, которую отдал Алексею Адашеву и в которой тот принимал народные прошения, разбирал жалобы и давал ответы, либо в Благовещенском соборе у Сильвестра, либо в своей приемной комнате, беседуя с Курбским. Тот совсем забросил и свой старый Пронск, и Ярославль, дарованный ему в вотчину, – безвыездно жил в Москве и так же, как царь и его окружение, казался озабоченным одним вопросом: воевать Ливонию в будущем году или погодить немного, чтобы служилый народ отдохнул после Казани? А может, пойти на Крым? И таково было сильно влияние Адашева, Сильвестра и Курбского на Ивана Васильевича, что Анастасия всерьез задумывалась: да полно, за истинным ли царем она замужем? Выходило, что страной правят совсем другие люди!

Иван Васильевич поранил ногу на охоте, напорвшись на сук, и вот уже который день прихрамывал. В нем с детства жило отвращение к болезням: младший брат князь Юрий просто чудо как выживал, обремененный множеством врожденных хворей. В последнее время у него даже язык иной раз отнимался, делался князь нем и безгласен, яко див. Иван брата и любил, и презирал за телесную и умственную слабость, но даже мысли не допускал, что сам может уподобиться такому слабенькому существу. Однако нога уже болела не в шутку, пораненная голень распухла и покраснела. Место вокруг раны сделалось сине-багровым, при небольшом нажатии сочился гной.

Немец Арнольф Линзей, придворный архиятер, сиречь лекарь, от робости слегка приседая, выговаривал царю: коли вспыхнул в теле антонов огонь, зачем государь пренебрегает разумными медицинскими наставлениями, слушает своих русских, невежественных врачей?

– Вот еще советуют в баньку пойти и хорошенько пропарить ногу с целебными травами, – невесело улыбаясь, сказал Иван, и Анастасия обратила внимание, как лихорадочно блестят его глаза.

Приложила руку к его лбу – ого!..

Увидев, как побледнела царица, Линзей осмелился почтительнейше попросить позволения коснуться царской ручки и головки. Позволение было дано, и лицо лекаря вмиг сделалось столь же встревоженным, как у Анастасии.

– У государя жар, – сообщил он нетвердым голосом. – И биение сердца происходит чрезмерно часто. При этом пульс неровен, а порою даже замирает. А это дурно, государь. Ход сердца должен быть ровен и монотонен. Его ослабляет воспаление телесное. Жар надобно немедля сбросить.

– Вели там баньку протопить, – нетвердо сказал Иван Васильевич жене, и та поднялась было передать приказание, однако была остановлена лекарем:

– В баньку вы можете отправиться потом, и она не замедлит оказать свое полезительное действие. Однако для начала необходимо прочистить рану.

– А то что? – задиристо спросил Иван. – А то помру, да?

Линзей немедля осадил назад.

– Нет, государь, конечно, нет, однако... – забормотал растерянно.

Надо, надо бы сказать царю правду о серьезности положения, однако кто же виновен, что сие положение сделалось столь серьезно? Лекарь! Лекарь робел перед гневом государевым и допустил нагноение и теперь рискует навлечь на свою голову такую бурю!..

Иван усмехнулся, следя, как забегали глаза Линзея, как заострился от страха его и без того длинный, тонкий нос.

– Да ты не бойся. Уж наверняка среди моих ближних и дальних нашлось бы немало, кто тебя только поблагодарил бы, отправься я к праотцам. То-то пели бы и плясали! А уж трон делить бросились бы – только пыль бы замелась!

Анастасия тихо ахнула. Муж покосился на нее – Анастасия неприметно качнула головой в сторону лекаря.

– А ну, выдь-ка ненадолго, – устало сказал Иван, откидываясь на подушки. – Покличу, когда понадобится.

Лекарь выскочил за дверь так прытко, словно прямо отсюда же, от порога, намеревался дать деру до самой ливонской границы, как некогда драпал царев

дядюшка Михаил Глинский с приятелем своим Турунтай-Пронским. Напуганные расправой над Юрием Васильевичем Глинским, они чаяли найти спасение в чужой земле, однако были перехвачены в пути и возвращены. Бегство их объяснили страхом и неразумностью, царь обоих простил и оставил в покое. Но то ведь дядя государев! А немца Арнольфа Линзея не простят.

- Ну, что? - спросил Иван Васильевич жену. - Чего ты надумала?

Анастасия нерешительно помалкивала. Мысль, ожегшая ее, вдруг показалась просто глупой. Государь Иванушка, конечно, не прибудет - по Сильвестру, к примеру, глупость вообще свойство всякого бабьего ума, - однако же стыдно оплошать.

- Ну говори, не томи! - Иван взял ее за руку, заставил нагнуться к себе. - Скажешь?

Стоять внаклон было неудобно, Анастасия присела было на ложе - и тотчас муж потянул ее к себе, так что царица навалилась на него всем телом.

- Ой, да ты что? Ногу, ногу побереги!

- А что нога? Нога тут вовсе ни при чем. Нога мне в таком деле совсем даже не надобна!

Он целовал ее, щекоча бородой, осторожно расстегивал шитое жемчугом, широкое ожерелье, добираясь до шеи, до плеч:

- Экие перлины колючие, этак все губы изранишь!

- Бог с тобой, - ошеломленно прошелестела Анастасия. - Что ж ты делаешь, душа моя? Этак-то...

- А ты молчи, - пробормотал Иван, подымая тяжелый парчовый подол летника, потом - сорочку и глядя атласные шитые чулки. - Ты же вроде молчать решила? Ну так и лежи тихо!

Она засмеялась, вздохнула, обхватив руками его худую широкую спину, прижалась близко-близко – ближе некуда.

Иван, как всегда, был в страсти нетерпеливым мальчишкой, который словно бы наперегонки с кем-то бежал к желанной цели. Анастасия когда попевала за ним, когда нет, да это ей и неважно было. Счастливой чувствовала себя лишь оттого, что слушала задыхающееся дыхание милого друга, сладкую боль от его ошалевших рук и губ, вбирала в себя влагу его, как иссохшая поляна – долгожданный дождь. И самым блаженным было знать, что это скороспелое, никогда не утихающее желание обращено к ней, только к ней.

«Почерпни воды из реки с этой и другой стороны судна...» Господи, пусть этого не случится никогда! Среди ее каждодневных молитв первой была эта – произносимая не губами, не умом, а преданно любящим сердцем.

– Боже ж ты мой Господи, – с трудом выговорила Анастасия онемевшими от поцелуев губами спустя примерно час. – Да как же я теперь на люди выйду?

Кика свалилась, убрус был смят и сдернут, волосник едва держался на затылке, а коса распустилась.

– Опростоволосил ты меня, аки блудницу вавилонскую!

– Ничего, – блаженно жмурясь и потягиваясь, пробормотал ее муж. – Чай, свои. Прости, не стерпел...

– Да и я не больно-то противилась, – усмехнулась Анастасия, водя губами по его шее и собирая соленый любовный пот. – Ох, взопрел ты, радость...

И вдруг ее словно ударило. Вспомнила, что он и прежде был в испарине. Вспомнила о его болезни.

– Ой, светы мои! – подскочила испуганно. – А нога-то! Нога твоя как?

Иван возвел глаза, словно прислушиваясь к своим ощущениям.

– Ты гляди! Давеча и не чуял ее вовсе, а сейчас опять о себе дает знать – болит. Что ж это выходит, а? Выходит, еться надобно с утра до ночи и с ночи до утра, чтоб ничего не болело? Ой, грех, грех... Сильвеструшка-то мой небось облезет и неровно обрастет от такого греха!

Анастасия вмиг вспомнила, какая догадка ее внезапно поразила. Тихонько засмеялась и опять прилегла простоволосой головой на плечо мужа.

– Вспомнилась мне, – шепнула Анастасия, осторожно подбирая слова, – вспомнилась мне старая сказка. Помнишь, как кот решил объявить мышам, что помирает? Лег возле их норок и лежит, прикинувшись дохлятиной. Неразумные мыши осмелели и ну баловать на его неподвижном теле! Кто за усы котофея дергает, кто с его хвостом забавляется, а самая большая мышь забралась на его голову и, приплясывая, объявила себя властительницей всех мышей... Ой! – Анастасия испуганно вскрикнула, потому что царь схватил ее за руку – так же внезапно, как кот – дурочку-мышку.

Приподнялась. Иван смотрел на нее блестящими глазами, вскинув брови, как бы спрашивая, все ли и верно ли понял.

Анастасия кивнула. Царь усмехнулся и поцеловал ее.

* * *

Никита Захарьин стоял на коленях около сестры и грел в своих горячих руках ее заледеневшие руки. Никита Романович был юноша еще молодой, хоть и вполне оперившийся в Казанском походе, однако сейчас он чувствовал себя беспомощным мальчишкой. Он не мог постигнуть происходящего. Чтоб от какой-то пустяшной раны, пореза, можно сказать... Ему было страшно жаль Ивана: как же так, пожить всего лишь 22 года! Ему было отчаянно жаль любимую сестру-царицу и племянника, однако больше всех было жаль себя. Себя – Никиту Захарьина, ибо смерть царя Ивана Васильевича означала для Захарьиных не просто крушение всех их устремлений и мечтаний, но и прямую гибель.

Присягать наследнику Дмитрию, а по сути дела – матери-царице, а вместе с ней всем Захарьиным бояре не желали. Вспыхнули с новой силой разговоры о праве князей Старицких на трон...

В дверь робко стукнули.

Анастасия вскинула голову; Захарьины вытянули шеи, сразу сделавшись похожими на стайку испуганных гусей; сидевшая в уголке нянька наклонилась над спящим царевичем, как бы прикрывая его собой.

Вошел Иван Михайлович Висковатый – высокий, худой, с длинным умным лицом. Темные глаза его были непроницаемы, однако голос звучал участливо:

– Матушка-царица и вы, господа бояре, извольте проследовать к царю. Государь к себе всех зовет.

Анастасия так и полетела вон; прочие Захарьины, столкнувшись в дверях, ринулись за ней.

В малой приемной палате, примыкавшей к опочивальне царя, стены обиты зеленым сукном, а под сводчатые потолки подведена золотая кайма. Над дверьми и окнами нарисованы сцены библейского бытия и травы узорные. По лавкам вдоль стен сидели разряженные бояре, однако Анастасия сразу заметила, что не все явились в парадном платье с изобилием золота, в котором положено было являться ко двору.

При виде царицы вставали, кланялись: кто с сочувствием и почтением, кто спесиво, кто – с плохо сдерживаемым злорадством.

Жгуче-черноволосый молодой человек с курчавой бородкой поспешно отошел от малого царского места, стоявшего в углу и являвшего собою деревянный трон под шатром на столбиках, причем под каждой ножкой был диковинный, искусно выточенный зверь. Анастасии показалось, что он трогал сиденье, а может, и примерялся к нему! Однако тотчас сделал вид, что даже не заметил царицы. Точно так же равнодушно отвела взор и женщина с хищно-красивым лицом.

Князь Владимир Старицкий и его мать Ефросинья были необычайно похожи друг на друга и внешностью, и повадками, и злобным выражением глаз. Они остались на месте, даже когда все прочие бояре следом за царицей втянулись по одному в просторную государеву опочивальню. Рядом с ними топтался Дмитрий

Федорович Палецкий, тесть царева брата Юрия Васильевича, и что-то говорил Владимиру с почтительным, просительным выражением. Заметив, что Анастасия на него смотрит, Палецкий смешался и торопливо прошмыгнул в опочивальню.

Владимир Андреевич лениво зевнул. Похоже было, что все происходящее чрезвычайно утомило избалованного князя и он хотел бы, чтобы дело свершилось без его участия, одними хлопотами матушки.

«Да уж! – с бессильной злобой подумала Анастасия. – Эта старая ворона о своем вороненке позаботится!»

Ефросинья недавно посылала к царскому столу именинные калачи: ей сравнялось тридцать семь – и впрямь старуха!

– А ты что же сидишь, князь Владимир? – слышался новый голос, и отставший Никита Захарьин увидел Сильвестра, только что появившегося в покое.

– Не пускают! – высокомерно вскинула голову Старицкая, как всегда, отвечая за сына. – Не пускают нас к царю!

– Кто? – нахмурился Сильвестр.

– Я запретил ему входить туда, – выступил вперед Григорий Юрьевич. – Не полезно государю слышать поносные речи на себя и сына своего.

– Грех на том, кто дерзает удалять брата от брата и злословить невинного, желającego слезы лить над болящим, – сдержанно отозвался Сильвестр и двинулся в опочивальню, бесцеремонно обойдя Захарьиных.

– Да я присягу исполняю!.. – выкрикнул Григорий, однако священник его уже не услышал.

Дядя и племянник Захарьины переглянулись. Все знали о слабости, которую по давню питал к князю Владимиру. Ходили слухи, что Сильвестр присягнута Дмитрию присягнет, однако намерен просить царя назначить опекуном царевича не Захарьиных, а именно Старицкого. Но для родственников царицы это конец. И для Анастасии с сыном – тоже...

Анастасия приблизилась к постели мужа, лоя его взгляд. Он смотрел на царицу, слабо улыбаясь, но, когда перевел взгляд на бояр, ставших в почтительном отдалении, лицо его посуровело:

– Что же вы, господа бояре? Такой шум учинили в покоях, что даже мне, хворому, слышно было. Царь тяжело болен, царь при конце живота своего лежит, а вы...

Анастасия припала лицом к его горячей, влажной руке.

– Слышал я также, что вы отказываетесь целовать крест нашему наследнику, царевичу Дмитрию, и присягать? – все так же негромко спросил Иван Васильевич, однако каждое слово его было хорошо слышно притихшим людям. – Лишь Иван Висковатый, да Воротынские оба, да Захарьины, да Иван Мстиславский с Иваном Шереметевым, да Михаил Морозов исполнили свой долг. Остальные-то чего мешкают?

Анастасия, приподнявшись, смотрела, как бояре отводят глаза и пожимаются, пятясь к дверям. Те, кто еще недавно громко кричал в приемной, сейчас боялись поглядеть в глаза царя.

Вдруг, посунув остальных широким плечом, вышел вперед окольный Федор Адашев и, разгладив окладистую бороду, гулко, как в бочку, сказал:

– Прости, коли скажу противное! Ведает Бог да ты, государь: тебе и сыну твоему крест целовать готовы, а Захарьиным, Даниле с братией, нам не служить! Сам знаешь: сын твой еще в пеленицах, так что владеть нами Захарьиным! А мы и прежде, до твоего возраста, беды от бояр видали многие, так зачем же нам новые жернова на свои выи навешивать?

– Да где тебе, Федор Михайлович, было боярских жерновов нашивать? – тонко взвыл оскорбленный до глубины души Григорий Юрьевич Захарьин. – В то время тебя при дворе и знать не знали, и ведать не ведали. Сидел ты в какой-то дыре грязной со чады и домочадцы, а нынче, из милости взятый, государю прекословишь? И где сыновья твои? Они ведь тоже из грязи да в князи выбрались щедростью государевой! Был Алешка голозадый, а нынче Алексей Федорович, извольте видеть, бровки хмурит в Малой избе! Но как время присягать царевичу настало, ни Алексея, ни Алешки и помину нет?

Разъяренный Федор Адашев попер на Захарьина пузом. Вмешались прочие бояре, растолкали спорщиков по углам. Шум и крики, впрочем, никак не утихали.

– А ну, тихо! – внезапно выкрикнул Иван Васильевич – и резко откинулся на подушки, словно крик этот совершенно обессилил его.

Из-за полога вынырнул бледный архиятер Линзей – весь какой-то запыхавшийся, словно долго откуда-то бежал. Видать, совсем задохся от страха! Перехватил запястье больного своими длинными пальцами, зажмурился, внимательно считая пульс. Потом осторожно провел по впалым вискам государя тряпицей, смоченной в уксусе. Острый запах поплыл по палате, и Иван Васильевич открыл глаза.

– Эх, эх, бояр-ре... – сказал с укором.

Голос его звучал едва слышно, и спорщики, желая услышать, что скажет царь, невольно притихли, уняли свой пыл.

– Если не целуете креста сыну моему Дмитрию, стало быть, есть у вас на примете другой государь? – спросил Иван, обводя пристальным взором собравшихся. – И кто это? Уж не ты ли, Кашин-Оболенский? Или ты, Семен Ростовский? Да ну, не дуруй! Какой с тебя царь! А может быть, ты, Курбский? – чуть приподнялся он на локте, вглядываясь в приоткрывшуюся дверь, и Анастасия увидела только что явившегося князя Андрея. – Что ж, это у тебя в роду! Дед твой Михаил Тучков при кончине матушки нашей Елены Васильевны много высказал о ней высокомерных слов дьяку нашему Елизару Цыплятьеву, да приговаривал, мол, не Ивашкино на троне место! Может, и ты скажешь, что место на троне нынче не Митькино?

– Напраслину речешь, государь, – негромко отозвался Курбский, проходя ближе к его постели. – Я ведь еще и словом не обмолвился. Хоть ты и великий царь, а все ж не Господь Бог, – почем тебе знать, что я думаю?

– А вы, Захарьины, чего воды в рот набрали? – повернулся царь к шурьям. – Испугались? Чаєте, что вас бояре пощадят, коли вы теперь смолчите? Да вы от бояр первые мертвецы будете! Вы бы сейчас за мою царицу мечи обнажили, умерли бы за нее, а сына бы на поношение не дали!

– Да мы... мы тут... – бормотали Захарьины, медленно приходя в себя от страха.

– А ну, пошли все вон! – гаркнул Иван Васильевич так, что по толпе бояр пробежала дрожь, Анастасия испуганно распахнула глаза, а Линзей едва не выронил склянку со своим лекарственным зельем.

После минутного промедления в дверях образовалась давка. Все спешили поскорее выйти, но кто-то задерживал толпу. Анастасия увидела, что это Курбский – встал в дверях, раскинув руки, и не дает никому пройти.

– Что же вы, бояре? – спросил он с укоризною. – Куда спешите? Разве забыли, зачем пришли сюда? И ты, государь, погоди нас гнать. Не все еще дело слажено.

Растолкав людей, Андрей Михайлович приблизился к дьяку Висковатому, который держал крест для присяги.

– Вот зачем мы сюда пришли! – Склонился перед царем: – Я, князь пронский, присягаю на верность и крест целую тебе, великий государь, а буде не станет тебя, то сыну твоему Дмитрию! И накажи меня Господь за клятвопреступление, как последнего отступника.

У Анастасии закружилась голова. словно во сне увидела она только что вошедшего Алексея Адашева, как всегда, с потупленными глазами и в черном кафтане (он ходил только в черном, даже ожерелье расшитое не нашивал), и брата его Данилу, одетого куда щеголеватее. С напряженными, суровыми лицами они пробивались к царскому ложу, целовали крест и клялись в верности царевичу.

Ждал своей очереди подойти присягнуть и Сильвестр.

В рядах бояр настало смятение.

Анастасия переводила взгляд с одного растерянного лица на другое, не в силах понять, что вдруг произошло. Она могла бы руку отдать на отсечение, что Курбский явился сюда с недобрыми намерениями, однако именно его поступок переломил общее настроение.

– Великий государь! – послышался пронзительный женский голос, и в опочивальню ворвалась Ефросинья Старицкая, такая румяная и оживленная, словно только что явилась с холода и свежего ветра, а не сидела полдня в жарко натопленной приемной, плетя паутину козней и каверз против этого самого великого государя, на которого она сейчас взирала с поистине материнской тревогою. – Великий государь, твои верные слуги, мы, с сыном моим, князем Владимиром, готовы дать...

Курбский то ли откашлялся, то ли подавил непрошенный смешок. Это звук несколько отрезвил княгиню, похоже, забывшую, что государева присяга – сугубо мужское дело, в которое даже матерая вдова и тетка царева не должна ни в коем случае вмешиваться.

– Сын мой, князь Старицкий... – поправилась княгиня Ефросинья и торопливо пихнула вперед ленивого отпрыска. – Иди, целуй крестик, Володенька, а потом ручку государеву.

Владимир, красуясь нарядом и повадкой, прошел к Висковатому, затем преклонил колени перед царевым ложем. Иван Васильевич принял от него присягу щурясь, безуспешно пытаясь скрыть пляшущих в серо-зеленых глазах бесенят.

– Коли так дело пошло, – вкрадчиво добавила Ефросинья, – может, заодно дозволишь князюшке наконец-то жениться? А, государь мой? Век за тебя будем Бога молить, первого же внука твоим именем назовем. У нас уже и невеста на примете есть – Ефросинья Одоевская. Сделай Божескую милость перед кончиною живота своего...

Анастасия стремительно скользнула взглядом по лицам. Преданные царю Воротынские, Висковатый, все Захарьины пребывают в состоянии явного торжества покорностью Старицких. Те бояре, которые еще не приняли присягу, спешат вперед. Курбский, Сильвестр, братья Адашевы стоят с каменным выражением на лицах. Кто, кто еще, кроме самой царицы, заметил тонкое лукавство, которым княгиня Старицкая окрасила свои последние слова?

– Ну, коли ты просишь, Ефросинья Алексеевна... – покладисто отозвался Иван Васильевич. – Быть по сему! Засылайте сватов к Одоевским! Эх, эх, жаль, что мне не погулять на свадьбе! А? Жаль? – грозно спросил он, хмурясь и обводя

прищуренным оком боярские лица.

Послышался невнятный общий шум. Бояре выражались в том смысле, что они бороды готовы вырвать у себя от горя.

– А хрен вам в рот, бояре! – дерзко хохотнул Иван Васильевич. – Вот возьму – и ка-ак не помру!.. А коли пошлет Бог дольшей жизни, отправлюсь паломником в монастырь Кирилла Белозерского, на поклонение мощам, с женой и сыном! Все слышали? А теперь идите. Идите все. Устал я. Иван Михайлович, – повернулся он к Висковатому, – ты в приемной держи крест за меня. Авось кто еще присягнуть надумает...

Он как в воду глядел! В приемной уже топтались запыхавшиеся посланные от Курлятева-Оболенского, а вслед вошел гонец от Фуникова-Курцева. И князь, и казначей велели сообщить, что присягу Дмитрию-царевичу принесут всенепременно.

6. Роковой обет

– Нельзя, нельзя его пускать по монастырям! Начнется опять то же самое... всю казну пораздаст этим монахам, которым вечно своего богатства мало!

Сильвестр тонко усмехнулся:

– Спасибо на добром слове, сын мой.

Алексей Федорович Адашев сверкнул на него глазами:

– Ты же понимаешь, о чем я!

– Понимаю.

– Ну так разреши его от обета! Скажи, что Бог простит, – какая ему, в самом деле, разница, Богу-то! – а ехать не надобно.

– Ну, не стану же я его за руки, за ноги держать и обет разрешать! – с оттенком раздражения отозвался Сильвестр. – Сами небось могли убедиться, что это отнюдь не тот Ивашечка, что шесть лет назад. Это прежде он был мягкая глина в наших руках, а теперь... а теперь в этой глине твердый стержень нащупывается.

Доселе молчавший князь Курбский поднялся с угловой лавки и начал ходить по просторной приемной палате Малой приказной избы, разминая ноги и изредка приостанавливаясь под дверью, за которой в писцовой камере работали дьяки и подьячие.

– Да не слышать там ни слова, – с досадой сказал Адашев, поняв его опасения. – Ни единого словца!

– Не обольщайся! – повторил Курбский. – Небось они, когда козни свои строили да замышляли, тоже думали, что ни единое чужое ухо им не внемлет. Ан сами знаете, что вышло!

Сильвестр тревожно вскинул голову. Его до сих пор ранили напоминания о том роковом дне, когда Иван подверг верность своих советников такому изощренному испытанию. Удивительно, что никто из них не заподозрил опасности, не увидел ловушки. Отвыкли видеть в царе самостоятельное лицо, слишком крепко уверовали, что вполне властны над его душой и помыслами. И основания для такой самоуверенности были! Не раз и не два они трое беседовали меж собой, что никак не государя, а именно их заслуга, если миновали времена боярской вольницы. Теперь они, лучшие из лучших, избранные, решали судьбы страны и бояр, все реже и реже советуясь с Иваном Васильевичем. Как сказал премудрый Соломон, царь хорошими советниками крепок, будто город башнями. И вполне естественно, если в головы их не раз закрадывалась мысль: если советники так уж хороши, то зачем царь вообще?

Впрочем, нет, конечно, Иван был нужен, пока нужен. Народ любит его, народу необходим некий наместник Бога в человеческом образе. Уже не раз слышал Сильвестр песни, сложенные после Казанского похода, и главный герой их – храбрейший из храбрейших, мудрейший из мудрейших государь-прозорливец Иван Васильевич. К тому же хоть и против воли, а приходится признать: болезнь Ивана вызвала сильнейшее народное отчаяние. До сих пор помнятся эти безмолвные толпы под кремлевскими стенами, жадно ловившие всякую весть о царском здравии.

Глупцы! Чернь была так же обманута, как и они, ближайшие советники и наставники государя. И кем обмануты?! Бабой!

То, что его, хитроумного женоненавистника, обвела вокруг пальца именно женщина, наполняло Сильвестра особым ощущением обессиливающей злости. Он скорее готов был простить лукавство своего воспитанника, чем эту поистине воинскую хитрость, замышленную Анастасией. Она всегда внушала Сильвестру неприязнь – прежде всего потому, что слишком уж крепко был к ней привязан царь. Сильвестр делал все, что мог, чтобы держать Ивана в отдалении от жены, строго ограничивал время их близости, наставлял, что не годится жене так часто вмешиваться в дела своего господина, ее дело – сидеть в тиши, подобно сверчку запечному... Однако он, со всеми своими премудростями и канонами, оказался бессилен перед стихийной силой женственности, исходящей от Анастасии, этой искусительницы.

Воистину жены мужей обольщают яко болванов. Слаб человек! От жены было начало всякому греху, и через то все люди гибнут.

У Сильвестра вновь перехватило дыхание. Ведь они были на самом краю гибели! Решив не допустить к трону Захарьиных, которые живо прибрали бы страну к своим загребущим рукам, все трое: он сам, Курбский и Адашев – уже готовились принять присягу князю Старицкому, который поклялся не ущемлять их власти и влияния. С тем и отправились в опочивальню цареву. Но все переломилось в последнее мгновение! Кабы не тайная весть, которую столь своевременно получил князь Курбский, где бы они были сейчас – эти трое, привыкшие называть себя избранными и полагать всемогущими?! Нет, наверное, не на плахе, потому что Иван с поразительным миролюбием простил всех и каждого, кто в тот день у его ложа противился царской воле. Никто не заключен в узилище, не затравлен медведями, не питан зверски, не сложил голову на плахе. Страшное слово «измена» не прозвучало ни разу. Однако Иван наверняка отстранил бы их от дел, а это ничуть не хуже смерти. Пока же они в прежней власти.

Нет, нельзя, нельзя допустить, чтобы Иван скользким угрем вывернулся из рук советников своих. Нельзя допустить, чтобы в этом паломничестве в Кирилло-Белозерский монастырь, куда он так рвется, царь обдумал случившееся как следует, чтобы по-прежнему оставался под влиянием своей лукавой жены. Понятно, на каких струнах его души играет Анастасия! Царь-де рожден

поступать так, как ему хочется, а не как другие присоветуют, ныне же он делает все именно по воле других. Вот в чем главная опасность путешествия – в близости Анастасии, а вовсе не в том, что какая-то доля казны перепадет в монастырскую собственность.

– Как я понял, поездка в Троицкий монастырь его не вразумила? – спросил Курбский.

Адашев неохотно качнул головой. Это ему принадлежала мысль привлечь на помощь старика-затворника Максима Грека, могучую нравственную фигуру предыдущего царствования. Обличитель великого князя Василия Ивановича за его развод с Соломонией Сабуровой, проповедник, пригнутый к земле годами и невзгодами, он, казалось, еще не утратил силы властвовать над душами.

Казалось – вот именно, что казалось!

Максим не мог испытывать приязни к сыну своего гонителя и с охотой отозвался на просьбу Адашева: переломить настроение царя, отговорить его от долгой поездки в Кириллов монастырь. Предлог был выбран не только вполне приличный, но и великолепнейший. Взывая к великодушию государя, старец сказал Ивану, что обет его не согласен с разумом. После взятия Казани осталось много вдов и сирот, гораздо лучше заняться устройством их судеб, чем исполнять обещания, данные в горячке.

– Если послушаешься меня, будешь здоров с женою и сыном! – сказал старец на прощание.

Похоже, речи Максима произвели впечатление на Ивана! В Москву он воротился притихнув и сразу затворился с Анастасией. И Сильвестр, и Адашев знали о ее впечатлительности, знали, как трясется она за жизнь сына, и были почти уверены, что смутный страх, напущенный Максимом, не сможет не завладеть слабой женской душонкой.

Но, видимо, что-то свихнулось в мироздании, коли эта женская душонка оказалась гораздо сильнее, чем они рассчитывали. На другой день было объявлено, что царь своих обетов не изменил и в паломничество отправляется буквально завтра же. Ночная кукушка опять всех перекуковала.

* * *

Первым на пути царского обетного паломничества лежал Никольский монастырь, что на реке Песноше. Здесь уже больше десяти лет проживал человек, по своему значению в жизни великого князя Василия Ивановича равный Максиму Греку. Вся разница состояла лишь в том, что Вассиан Топорков, бывший епископ Коломенский, был доверенным лицом великого князя и поддерживал каждый его шаг.

Беседа с Максимом Греком и встревожила впечатлительную душу молодого царя, и в то же время ожесточила. Чем дальше, тем больше грызли его мысли о странной участи, которую навязала ему судьба. Конечно, Иван сам был виновен в том, что любимые друзья-советники приобрели в жизни страны и его жизни такое большое влияние. Однако порою обида – почти детская, почти до слез! – пересиливала привязанность и благодарность. «Да кто здесь царь, в конце концов?!» – готов был вскричать он иной раз, сталкиваясь лицом к лицу с решениями, принятыми от его имени и даже при его участии. Слов нет, все это были разумные решения – и принятие нового Судебника, чтобы судили не по боярской воле, а по закону, и Стоглавый Собор, определивший законы и обычаи новой России, – но порою у Ивана возникало отвратительное ощущение, что, окажись он во дни принятия этих решений за тридевять земель, сляг в огневице (он невольно усмехнулся в усы) или умри вовсе, – все свершилось бы и без его присутствия. Словно заглянув в грядущее, Иван Васильевич внезапно осознал, что исправить в прошлом уже ничего нельзя: отныне и вовеки его имя будет тесно сплетено с именами Алексея Адашева, священника Сильвестра и князя Андрея Курбского. Эти трое, бывшие не более чем советниками царскими, оплели могучий ствол государственного дерева, подобно вьющимся растениям-паразитам, присосались к царю, тянут из него жизненные соки, самовластно питаются и величались.

Вассиан Топорков, старинный наставник великого князя Василия Ивановича, не подвел. Встретив царя с поистине отеческой любовью, он долго всматривался в лицо Ивана, как бы сравнивая того царя, коего видел перед собой, с тем, который жил в его памяти. Схожие лепкой удлинённых, правильных лиц и большими глазами, они разнились бровями (у Василия Ивановича брови были благодные, округлые, а у Ивана Васильевича – от переносицы вразлет), цветом глаз (отец был голубоглаз, сын сероглаз), но главное – выражением рта. Губы у великого князя были мягкие, добродушные, однако вот точно так же, как молодой царь, неприступно и жестко сжимала свой рот правительница Елена

Васильевна Глинская, когда что-то было ей не по нраву!

Вассиан ласково смотрел на сына своего дорогого друга и, чудилось, читал в его душе, как в раскрытой книге. Многие он мог бы сказать этому красивому, статному – и не уверенному в себе человеку. Однако долгая жизнь научила его остерегаться отвечать, пока не спрошено. Поэтому он дождался, когда Иван спросил: «Как я должен царствовать, чтобы великих и сильных держать в послушании?» – и ответил так:

– Если хочешь быть самодержцем и единственным властителем в стране, – заговорил Вассиан, – не держи при себе ни одного советника, который был бы умнее тебя. Потому что ты лучше всех. Ты! Если так будешь поступать, то будешь тверд на царстве и все будешь иметь в своих руках. Если же будешь иметь людей умнее тебя, то волей-неволей будешь послушен им.

Иван осторожно взял сухую старческую руку, слабо перебиравшую одеяло, и поднес к губам:

– Благодарю тебя. Сам отец, если бы он был жив, не сказал бы лучше и не дал бы мне такого разумного совета!

Вассиан удовлетворенно закрыл глаза. Еще мгновение Иван растроганно всматривался в источенные временем черты, а потом тихо вышел.

Все правильно, он так и думал. Пора перестать числить себя мальцом неразумным при старших умных братьях! Права, ах права была Анастасия. Верно написал Сильвестр в своей, столь ненавидимой Анастасией, книжище по имени «Домострой»: «Если Бог дарует жену добрую, получше то камня драгоценного!»

От Песношской обители царская семья рекой Яхромой спустилась в Дубну, Дубной – в Волгу, по Волге – до Шексны, посетив по пути Калязинский монастырь, Углич, Покровский женский монастырь. Шексной поднялись до Кириллова монастыря и долго молились на месте свершения государева обета. Дрожа над сыном, царица осталась в обители, поэтому Иван Васильевич один отправился в Ферапонтов монастырь, затем вернулся в Кирилловскую обитель за семьей. Дальше путь их должен был лежать по Шексне к Волге, оттуда в Романов и Ярославль, а там, уже сухим путем, в Москву.

Иван Васильевич и Анастасия вздохнули с облегчением, когда покинули стены Кирилло-Белозерской обители. Цель обета достигнута, а все целы и невредимы! Теперь можно отправляться домой. Теперь пророчество зловредного Максима Грека не страшно!

Анастасия не признавалась мужу, в каком страхе пребывала все это время. Мучили ее сны – такие странные и страшные, что не раз готова была она сдаться, пасть на колени перед царем и просить позволения вернуться в Москву с полпути. Главное дело, ничего из тех снов она не помнила: только давил на грудь неизбывный ужас. Лишь раз запомнилось отчетливо, что снилось: она идет с сыном купаться по золотому песчаному берегу. Никогда в жизни не приходилось ей видеть такой красоты, как в этом сне: широкое приволье сизой от ветра реки, по которой бегут белые барашки, широкое приволье береговой излучины, окаймленной вдали нежно зеленеющим березняком. И над всем этим – огромное, просторное небо, пронизанное, словно серебряной нитью, жаворонковой трелью. Снилось ей далее, что входит она с сыном в реку и осторожно плещет на него водичкой, но Митя тянется, тянется к игривой волне и вдруг – ах! – выскальзывает из рук Анастасии и падает. Но тотчас высовывается из воды, смотрит на перепуганную Анастасию, на порхающих в вышине птиц и смеется и говорит, хотя наяву он еще говорить и не начинал:

– Не плачь, матушка. Здесь так хорошо! Я вместе с рыбками поплаваю, а потом летаю с птичками. Не плачь!

Анастасия в ту ночь вскинулась вся в поту и полетела к колыбели, над которой клевала носом незаменимая Настя-Фатима. Девушка безотчетно заслонила колыбельку, словно защищая спящего ребенка, но, узнав царицу, смущенно засмеялась. И у Анастасии при виде ее приветливых синих глаз отлегло от сердца. В самом деле, может, этот сон вовсе не плох, а хорош?

...Судно царское шло по Шексне, приближаясь к Волге. По течению двигаться было легко, и расшива летела, как стрела. День выдался прозрачный и солнечный, как в раю. Звенели в вышине птицы. Митя играл на руках у Насти, тянулся к облачкам, повисшим в небе и причудливо менявшим под ветром свои очертания. Потом пенные гребешки привлекли его, и Фатима подошла ближе к борту расшивы.

– Ах, красота... какая красота! – вздохнул Иван Васильевич, умиленно оглядываясь и подталкивая жену, у которой от яркого солнечного света слипались глаза. – Ну ты посмотри, ну посмотри же!

Анастасия огляделась. И впрямь чудо как хорошо кругом. Широкое приволье сизой от ветра реки, по которой бегут белые барашки, широкое приволье береговой излучины, окаймленной вдали нежно зеленеющим березняком. И над всем этим – огромное, просторное небо, пронизанное, словно серебряной нитью, жаворонковой трелью!

Странно: Анастасия наверняка знала, что никогда не была здесь, а все же чудилось, будто все это она уже когда-то видела. Знакомо играют волны, и березки знакомо шелестят.

Ну конечно, видела! Она видела эту красоту во сне – в том самом сне, где Митя...

Вдруг Фатима покачнулась, поднесла ко лбу руку, словно у нее закружилась голова. Вскрикнула испуганно, наклонилась над бортом – и не успели стоящие невдалеке люди шагу шагнуть, как она перевалилась вниз и канула в воду вместе с царевичем, которого крепко прижимала к себе.

Оба сразу пошли ко дну и даже не всплыли ни разу.

7. Песочные часы

Когда Арнольф Линзей являлся к царице по утрам и, низко склонясь, начинал занудливо и однообразно выведывать, что у матушки нездорово, Анастасия то отмалчивалась, то отделялась односложными ответами, то, потеряв терпение, начинала кричать на Линзея и гнать его прочь. Она все чаще теперь выходила из себя, слезы и крик всегда были рядом. Бесила всякая мелочь, а пуще всего, что не может же она на вопрос запуганного архиятера: что, мол, болит? – ответить просто и правдиво: «Душа».

Рана, оставленная в сердце нелепой и страшной гибелью сына, никак не заживала. Самой-то себе Анастасия могла признаться, что Иванушка, хоть и

обрадовал ее своим появлением на свет несказанно, все же не заполнил пустоты в душе, не изгнал из памяти и снов старшего сына. Царь-то был доволен рождением Иванушки, да еще такого здоровяка, няньки в один голос приговаривали: не царевич-де у них на попечении, а чистое золото! И ест хорошо, и спит спокойно, и приветлив, и улыбочив, и не надо его бесконечно тетешкать, пока руки не отвалятся, и петь над ним не требуется, пока горло не осипнет.

Когда Анастасия до неостановимых рыданий, до истерик и припадков молилась на гробе святого Никиты Переславского, а потом в тревожном ожидании готовилась к новым родам, ей казалось, будто появление на свет этого ребенка (как и в прошлый раз, чуть ли с первого дня знала, что снова будет сын!) разом поставит все на место в ее жизни, наладит отношения с мужем, замостит страшную трещину, которая пролегла меж ними с того страшного случая на Шексне. Сын унес с собой весь свет их прежней жизни, всю радость и всю любовь, которая их соединяла: ведь он был воплощением и осуществлением этой любви, – и то, что сейчас происходило между мужем и ею, Анастасии казалось тлением гнилушки по сравнению с костром.

Самое страшное, что муж, несомненно, считал Анастасию повинной в гибели сына. Если бы она не отговорила его послушаться советов Максима Грека и увещеваний Сильвестра с Адашевым, если бы они не поехали в Кирилло-Белозерский монастырь... Сначала он беспрестанно выговаривал, выкрикивал, выплакивал это вслух, потом слегка поуспокоился, однако в каждом его взгляде жили прежние невысказанные попреки, каждый день ощущала Анастасия, что она – жена опальная. Может быть, даже и разлюбленная.

Вдруг подпрыгнуло, ожило сердце – в сенях раздались знакомые твердые шаги. Боярышня, дремавшая у двери на лавке, подскочила с вытаращенными глазами:

– Царь, матушка! Государь! – и кувыркнулась в ноги вошедшему.

Анастасия привстала, цепляясь за подлокотник кресла, тревожно ловя выражение мужнего лица: в духе ли он? Давно, давно было меж ними заведено, чтоб царица в своих покоях мужу даже в пояс не кланялась, они обменивались нежными приветствиями или лбызались при встрече, однако Бог его знает теперь, супруга и государя, в каком он расположении...

– Ну, здравствуй, – беспечно сказал Иван Васильевич, подходя к жене и небрежно касаясь ее лба губами. – Здоровая ли? Арнольф на тебя жаловался – ты-де строптива и молчалива, не рассказываешь ему про хвори свои.

– Да сколько можно про одно и то же рассказывать? – тихо сказала Анастасия, с трудом пробиваясь через перебои сердечные. – Если кому на роду написано от лихоманки сгинуть, никакие затеи лекарские не уберегут.

– Ты и впрямь помирать собралась? – без особого беспокойства спросил муж. – Не оттого ли так ретиво за родню хлопчешь? Места им при дворе снова и снова выпрашиваешь? Даже за Ваську-дурня похлопотать решила?

– Какого Ваську? – растерянно спросила Анастасия, начисто позабывшая о своей недавней просьбе о дальнем родственнике.

– Васька Захарьин, – с деланой улыбкой пояснил муж. – Тот самый сударик твой прежний, что некогда тебе грамотки писывал да под кустик сманивал.

– Что-о?!

– Что слышала. Ну да ладно. Я нынче добрый. Хватит, в самом деле, на женину родню серчать. Сменю гнев на милость! Дам Захарьиным при дворе новые места! Так что не печалься и не кручинься, радость, будем веселиться. Эй, дураки! – вдруг взвизгнул он. – А ну, сюда! А ну!..

Дверь распахнулась, и в опочивальню с глупым гомоном и воплями ввалились две нелепые фигуры.

Одного, согбенного от рождения и обладавшего непомерно большой головой, знали в Кремле все. Это был первый царский дурак Митроня Гвоздев – человек знатного рода, некогда бывший даже кравчим при дворе. На свою беду, он был уродлив – но не отвратителен, а смешон, да еще умел скрашивать впечатление от своей внешности забавными, хотя и грубыми выходками. Его повадки очень нравились Ивану Васильевичу, и он отправил Гвоздева в Потешную палату, назначив шутом. На какое-то время царь совсем забыл любимого дурака, а теперь снова приблизил его к себе.

Митроня, кривляясь и гримасничая, мотая своей большой головой, так что покои наполнились лихим перезвоном бубенцов, приблизился к царице и отвесил наглый поклон на манер польского, с прискочкой и раскорякою. Анастасия брезгливо передернулась и с тоской поглядела на второго шута, который безуспешно пытался повторить ужимки Митрони, повинувшись сердитому царскому окрику: «Чего стал как вкопанный? Кланяйся!» – и тычку посохом.

Анастасия нахмурилась. Второй шут был не горбун и не калека, высокий, статный, молодой еще человек с правильными чертами нелепо размалеванного лица, которое вдруг показалось царице знакомым. Не веря своим глазам, она ахнула, прижала ладони к щекам...

– Как ты и просила, сыскал я твоему любимцу новую должность, – медоточивым, дрожащим от злого смеха голосом сказал Иван Васильевич. – Да какую! Самую что ни на есть очестную да хлебную! Будет при царе день и ночь, у порога царского спать, со стола государева есть... обглодыши мои доглядывать. Завидная доля! Митроня не даст соврать – сладка жизнь при мне, да, Митроня? – Царь схватил шута за ухо, беспощадно вывернул.

– Сладка! – простонал Гвоздев, не в силах сдержать слез, выступивших на глазах.

– Добренький ли я, Митроня?

– Добренький, ох добренький!

– Но порою и гневлив, так?

– Ой, так, государь, ой, так! Да ухи-то отпусти, царь-батюшка, не рви ухи-то! – взвыл Гвоздев в полный голос.

– Сейчас отпущу, – невозмутимо кивнул царь. – А взамен ты покажешь, каков грозен я бываю в гневе своем.

Гвоздев, отпущенный наконец на волю, ожесточенно тер разгоревшееся, вспухшее ухо и в некотором замешательстве переводил взгляд с царя на царицу.

– Прямо вот тут и показывать? – спросил, поправляя съехавший набок двурогий колпак.

– Прямо тут! – хлопнул царь себя по бокам. – Ну! Давай, давай! Какие громы я выпускаю во гневе своем на недоумков-бояр?

Гвоздев зажмурился и натужился, потом вдруг, дернув за очкур, придерживающий его разноцветные порты, оголил зад и, нагнувшись, испустил непристойный трубный звук.

Анастасия прижала руки к лицу, испуганно глядя сквозь растопыренные пальцы на бесстыдного Митроню, на хохочущего царя, на страдальческое лицо Василия, – и не верила своим глазам.

Что это, Господи? Что это?! Какая злая сила в одночасье подменила ей мужа на этого сатану?

– Ай, молодец, Митроня! – ласково сказал между тем Иван Васильевич, поощрительно похлопывая шута по голому заду. – Порадовал ты меня. На, держи!

Он бросил на пол золотую монетку, и Митроня, забыв даже срам прикрыть, кинулся ее подбирать.

– Видишь, Васька? – обратился царь к оцепеневшему Захарьину. – Служба при мне зело доходна. Слышал я, именишко твое в упадке, все отцово наследство ты прожил и промотал, – ну так при моей особе живо делишки поправишь. И не благодари меня, не надо – за тебя царица просила, ей и скажи спасибо. Ну! – рявкнул он, видя, что Васька молчит по-прежнему.

Тот вздрогнул, разомкнул кроваво-красные на помаженные губы:

– Спасибо, матушка-царица...

– Век не забуду твоей милости, – громким шепотом подсказывал царь.

– Век не забуду... – выдохнул Васька, уставив на Анастасию глаза, вокруг которых у него были намалеваны два пятна: одно черное, а другое – желтое.

Она тихо, жалобно вскрикнула – и умолкла, словно задохнулась.

Да он что, государь, с ума сошел?! Неужто из ревности сотворил все это с Ваською? Но как он узнал о былом, если даже сама Анастасия и думать забыла про те старинные глупости?!

– Ну что, Захарьин? – хохотнул Иван Васильевич. – Покажи нашу царскую грозу – и сразу начнешь добро наживать, в мощну складывать, как Митроня. Знаешь, он каков богатей? Скоро все мое царство скупит, и меня в придачу. Ну, давай, гром, греми! Спускай портки, Захарьин, да тужься крепче!

Васька не шелохнулся, только лицо его под слоем разноцветных пятен побелело.

– Ну? – круто заломил бровь Иван Васильевич. – Будешь греметь?

– Нет, – выдавил Захарьин.

– Не-ет? Это почто же?

– Я, царь-батюшка, боярский сын, а не воняло подзаборное, – вдруг громко, отчетливо выговорил Василий. – Прикажи мне жизнь свою за тебя отдать, и я отдам, глазом не моргну, а на этакое непотребство ищи других! Без чести и совести!

– Жизнь отдашь? – медленно повторил Иван Васильевич. – Хорошая мысль. А ну-ка, пошли!

Не взглянув на жену, он выметнулся из царицыной палаты, волоча за собой Захарьина. Тот упирался, однако разошедшийся Митроня прыгал рядом, осыпал его тычками да щипками, не давая вырваться.

Анастасия метнулась было следом, однако ноги вдруг подкосились, и она упала на колени.

В двери заглянула перепуганная боярышня, кликнула остальных комнатных девушек и боярынь, схоронившихся подале от царя.

Царицу подняли, усадили в кресло, терли виски душистой водкой, звали Линзея. Архиятер примчался, велел расстегнуть на царице тугое ожерелье и непременно приотворить окошко. Боярыни не могли справиться с разбухшей после дождей деревянной рамою малого окошечка, кое выходило во внутренний дворик и было сделано нарочно для проветривания. На прочих-то окнах переплеты были свинцовые, литые, никогда не отворяемые! Кликали кого-нибудь из мужской прислуги, однако никто почему-то не отозвался.

Линзей, с тревогой вглядывавшийся в бледное, покрытое потом лицо Анастасии Романовны, пошел помогать женщинам. Ему удалось приподнять раму – и тут взгляд его упал на нечто происходившее за окном. Лекарь так и замер, низко склонившись к окну и вцепившись в створку.

– Чего стал, чудо заморское? – проворчала старшая боярыня Анна Петровна Воротынская, подходя к лекарю и нетерпеливо дергая его за рукав.

В следующее мгновение она испустила сдавленный крик и повалилась на пол, обморочно закатив глаза.

Прочие женщины кинулись к окну – и тут же их словно ветром по углам разнесло. Кто кричал, кто визжал, кто сидел молчком, но все норовили как можно крепче зажать руками глаза. А из открытого окна неслись крики и рычание.

Анастасия, с трудом владея онемевшим телом, поднялась и сделала несколько шагов. Линзей попытался заслонить окно, однако Анастасия слабой рукой отстранила его и высунулась наружу. Приоткрыла рот, чтобы глотнуть свежего, прохладного воздуха, – да так и подавилась им.

Внизу, прямо под ее окнами, была огороженная площадка, усыпанная золотистым, чистым песком. Анастасия хотела, чтобы сюда навезли земли и насажали цветов, однако царь почему-то противился. Площадку посыпали отборным песком и тщательно мели, однако сюда никто, кроме подметальщиков, не заходил. Постепенно Анастасия привыкла к ее пустоте и не

обращала на нее никакого внимания. Однако сейчас площадка не пустовала. К ограде прилипли любопытные, а по песку метался человек – весь ободранный, в окровавленной одежде, – пытаюсь увернуться от двух огромных бурых медведей, которые ходили за ним, неторопливо, но проворно цапая лапой жертву, стоило ей приблизиться к ограде, и забрасывая ее снова на середину площадки. Человек еле волочил ноги, одна рука его, видимо, перебитая, висела как плеть, одежда болталась клочьями, открывая раны на теле.

Откуда-то сбоку послышался свист, и один из медведей, словно подстегнутый, вдруг поднялся на задние лапы и передней, когтистой, с силой сгреб с головы жертвы всю кожу вместе с волосами. За мгновение до того, как волна крови залила лицо несчастного, Анастасия успела увидеть два пятна вокруг его обесцвеченных смертью глаз. Одно пятно было желтое, другое черное.

Она даже не вскрикнула – беззвучно упала замертво.

8. Доктор Елисей

В ознаменование окончательной победы над Казанью царь Иван Васильевич повелел в 1555 году заложить на Рву, неподалеку от Фроловских ворот Кремля[6 - Ныне Спасские ворота.], новый собор – Покровский, по имени Покрова Богоматери. Судя по рисункам, которые представили ему нанятые для сей постройки знаменитые зодчие Барма и Постник, собор обещал стать новым чудом света. Девять разноглавых храмов с разноцветными куполами будут объединены общим основанием и внутренними переходами, и царем велено было красоту эту устроить так, чтобы слепила глаза.

Едва лишь началось строительство, как у подножия храма повелись юродивые и прочая нищая братия. До Анастасии доходили слухи о каком-то Василии Блаженном, который был знаменит своими проделками. Едва ли не столетний старец, он жил без крова и одежды, подвергал себя великим лишениям, отягчал тело железными цепями и веригами. Уверяли, что не единожды видели люди: бегают он по Москве-реке, аки посуху!

Как-то раз Василий предрек пожар в Новгороде, уничтоживший чуть не полгорода. С тех пор сам царь почитал его яко провидца сердец и мыслей

человеческих. Одно время он даже намеревался зазвать Блаженного во дворец – чтобы наложил свои исцеляющие руки на царицу. В самом деле, лечит же Василий других – почему бы не вылечить Анастасию Романовну, которая никак не могла оправиться от последних родов?!

От сего предложения бедняга Арнольф Линзей забился в истерике. Это непостижимо! Причуды вздорного русского царя нормальному человеку невозможно понять! Государь ни разу не позволил ему осмотреть больную царицу: лекарю приходилось довольствоваться лишь опросами Анастасии Романовны, а осмотр проводили ее ближние боярыни – женщины, конечно, опытные, однако в медицине несведущие. На основании их уклончивых, приблизительных, стыдливых ответов придворный врачеватель составлял для себя картину болезни, похоже, очень далекую от действительности, судя по тому, что лечение его оставалось безрезультатным. Но какому-то грязному, вшивому, косноязычному сморчку-юродивому государь готов позволить коснуться белого, чистого тела жены! Конечно, в юродивом царь не видит мужчины; к тому же у этих русских все, что связано с телесным и духовным уродством, вызывает приступы какого-то извращенного, брезгливого милосердия. Однако Линзей, бледнея от собственной храбрости, прошептал, что он лучше добровольно выпьет яду, чем перенесет такое поношение лекарственных принципов, первый из которых есть: чистота – залог здоровья!

Иван Васильевич начал хмуриться. Линзей мгновенно перепугался и уже готов был запихнуть свои дерзкие слова обратно в глотку, но тут, к несказанному изумлению и облегчению архиятера, его поддержала царица.

Анастасия всегда пользовалась случаем выказать лекарю неповиновение (была втихомолку убеждена: именно он некогда донес князю Курбскому, что болезнь царя мнимая, придуманная лишь для проверки верности боярской!), однако на сей раз вступилась за Линзея. Нестерпима была сама мысль, что до нее дотронется своими заскорузлыми от грязи ручищами какой-то юродивый.

Царь сперва и слушать не хотел царицу с Линзеем, однако вскоре невзлюбил Блаженного так же горячо, как они: прошел слух, будто кричал юродивый, что имя нового царя, который сядет на русский трон после Ивана Васильевича, будет Федор.

Как же так? Не царевич Иван, в честь рождения которого в великокняжеском селе Коломенское была воздвигнута церковь Вознесения и который не

переставал радовать отца своей резвостью, здоровьем, весельем, а родившийся в мае 1557 года хилый, немощный Федор?! Пророчество показалось государю таким невероятным и неприятным, что он ничего и слышать больше не желал о Василии Блаженном. Слава те, Господи, думала Анастасия, хотя бы один повод для распрей между нею и мужем исчез!

Впрочем, жаловаться грех: чем дальше шло время, тем дальше в прошлое отходили их прежние нелады. Теперь она порою думала: а не померещился ли ей тот страшный день, когда на золотистом, обгавленном кровью песке перед крыльцом валялся заломанный медведем Васька Захарьин? Не померещились ли собственное беспамятство и лютая ненависть, которую Анастасия испытывала тогда к мужу? Она совершенно утратила власть над собой и почти не помнила, что в сердцах выкрикивала, выплакивала ему.

Иван Васильевич тоже вышел из себя. Крикнув:

– Собака умней бабы, на хозяина не лает! – так ударил жену кулаком в лицо, что она отлетела к стене.

Разъяренный царь подскочил к Анастасии и уже занес посох, чтобы обрушить на ее голову. Боярынь ветром вынесло из палаты. Они были убеждены, что государь сейчас убьет строптивую жену, однако никто не хотел сделаться следующей жертвой, необдуманно вступившись за нее.

Но зуботычина отнюдь не отрезвила Анастасию, а страх не заставил замолчать. Чувствуя, как сочится кровь из рассеченной щеки, а в затылке нарастает звон и гул (она сильно стукнулась головой), выкрикнула:

– Плохой ученик ты, государь, своего учителя! Даром на тебя Сильвестр время тратил! Он в своем «Домострое» учит «бить жену ни палкой, ни кулаком, ни по уху, ни по видению, чтобы она не оглохла и не ослепла, а только за великое и страшное ослушание, соймя рубаху, вежливенько, осторожно побить, да не пред людьми – наедине поучить!». А ты что творишь? Гляди, выпорот тебя твой наставник за дурное поведение!

Царь выслушал это с видом человека, который получил обухом по голове, и несколько мгновений оставался недвижим. Вдруг он отшвырнул занесенный посох и шагнул к Анастасии, протянув руки. Она решила, что тут-то и настал

смертный час: рассвирепевший муж ее просто задушит! Однако вместо этого Иван Васильевич крепко обнял ее и прижал к себе так, что, сколько ни билась Анастасия, сколько ни вырывалась, не смогла его осилить и наконец притихла в его объятиях.

Долго они сидели на полу, слушая, как унимается грохот переполошенных сердец, не в силах сказать друг другу хоть слово. Оба смутно чувствовали, что им удалось замереть на краю страшной, бездонной пропасти. А еще Анастасия думала: уж, казалось бы, изучила она своего супруга всего досконально, а нет – только теперь осознала, что чаще прочих людей слышит он смех за левым плечом... Известно ведь, что за спиной у каждого из нас незримо присутствуют два существа. Справа – ангел-хранитель (именно поэтому ни в коем случае нельзя плевать через правое плечо, чтобы не осквернить ангела!), а слева – бес. Он-то и подзуживает нас на грех: когда бес тихо смеется, человек теряет голову и совершает такие поступки, которые раньше и в страшном сне не увидел бы. Вот как государь только что...

Анастасия и прежде не раз замечала, что они с мужем частенько думают об одном и том же. Виновато усмехаясь, Иван Васильевич вдруг сказал, осторожно поправляя съехавший на сторону убор жены:

– Во мне, видать, вечно князь Дмитрий Донской с Мамаем поганым будет бороться. И неведомо, кто кого одолеет.

От удивления Анастасия даже успокоилась. Она вообще была необыкновенно отходчива и незлопамятна. Чуть высвободившись, подняла к мужу глаза:

– Это как же? Это почему?

Он болезненно передернулся при виде ее разбитого, вспухшего лица и сдавленно пояснил:

– По отцу-то мы свой род ведем от Александра Невского, князь Дмитрий – его потомок. А когда разбитый на Куликовом поле Мамай погиб в борьбе со своим соперником Тохтамышем, сыновья его бежали из Орды в Литву, крестились там и получили в удел город Глинск. Были Мамаевичи – стали князьями Глинскими. Матушка моя Елена Васильевна – их прапраправнучка. Вот и выходит, что я вечно буду сам с собой в разладе, как русские – с татарами!

Насчет русских с татарами он был, конечно, прав, однако с того дня отношения между царем и царицей снова пошли на лад.

Рождение Федора не только порадовало несказанно Анастасию Романовну (накануне видела она во сне незабвенного Митеньку, который ласково улыбался ей из-за белого облачка и утешал: «Не горюй по мне, матушка, скоро я к тебе вернусь!»), но и наполнило царя особенным ощущением уверенности. Как бы то ни было и что бы теперь ни случилось с одним сыном, у него останется второй. Все же мысль о том, что на русский престол может забраться с ногами князь Старицкий, немало точила Ивана Васильевича! Теперь он втихомолку только и искал случая, чтобы показать Адашеву и Сильвестру, кто все же хозяин в Кремле и во всей России.

Случаем таким стала ливонская война.

* * *

Иван Васильевич дал поручение немцу Гансу Шлитте набрать в Европе опытных мастеров, врачей, техников для России. Шлитте собрал 123 человека, но в Любеке он и его спутники были задержаны и посажены под стражу. Оказалось, что ливонцы настоятельно просили не пропускать в Москву иноземных мастеров. Они уверяли, что если просвещение проникнет в Москву, то великая опасность угрожает не одной Ливонии, а всему немецкому народу, да и всей Европе! Швеция поддерживала Ливонию в недружелюбности и постоянно встревала в поземельные споры с Псковом и Новгородом.

У Ивана Васильевича давно чесались руки проучить Стекольную (так он в злости называл Стокгольм) и Ливонский орден, который не пропускал Россию к новым северным землям и к морю. Казалось, решение о походе на Ливонию принято, однако Сильвестр и Адашев с Курбским да Курлятевым-Оболенским легли косями, чтобы переубедить царя.

– Ты, царь, чрезмерно возгордился легкими успехами под Казанью, коли дерзаешь идти воевать, не уничтожив в тылу своем опасного врага, – твердили они в один голос. – Гляди, как бы твоя алчность не навлекла на тебя большую беду. Прежде чем идти воевать Ливонию, надо покорить Крым и, довершив начатое под стенами Казани, до конца уничтожить татарское разбойничье

гнездо!

Для Анастасии эти намерения были как нож острый. Она знала: в Ливонский поход царь отправит своих воевод (Курбского, Шуйского, Басманова, Данилу Адашева), а в далекий Крым сам поведет войско, как водил на Казань. Опять расставаться с ним? Опять ночей не спать в страхе за него – и, значит, за себя и детей? Князь-то Старицкий небось по обычаю своему занеможет, отсидится за мамушкиным подолом... Всю силу своей любви и влияния на мужа Анастасия употребила для того, чтобы втихомолку куковать по ночам: нельзя, неразумно тащиться в Дикую степь! Слишком сильный противник – крымчаки. Ничего эта война не даст России, кроме лишней траты сил и расхода человеческих жизней! Для Анастасии, конечно, имела значение только одна-разъединственная жизнь – ее мужа...

Порою царице становилось жаль государя. Он был мастером быстрых, порою мгновенных решений, но там, где требовалось долго взвешивать «за» и «против», невольно уподоблялся остановившемуся маятнику, не знающему, в которую сторону качнуться – вправо или влево. В палатах жены Иван Васильевич был уверен в своей правоте: надо идти на Ливонию! Но стоило поговорить с «избранными», как ореол покорителя злокозненного крымского хана начинал грезиться ему, да так явственно, что блеск его застил глаза.

Строго говоря, это была не столько борьба Ивана Васильевича с самим собой, сколько скрытная, темная, ожесточенная борьба царицы и «избранных» за душу государя.

В эти дни колебаний и метаний к Анастасии Романовне явилась неожиданная гостья.

Привела ее с собой княгиня Юлиания. Вокруг нее вечно вилось множество чернорясниц, и когда Анастасия увидела в своей светлице Юлианию рядом с высокой худощавой женщиной, одетой в черное, то решила, что ее невестка привела очередную монашенку. Известно ведь, сколь искусны в вышивании монастырские затворницы. Анастасия всегда радовалась случаю поговорить с ними и узнать что-то новое о глади или вышивании высоким швом, сканью, звездками, в петлю, в кружки, в цепки, в вязь, в клопец – и прочих таких же премудростях. Однако вскоре она разглядела, что незнакомка облачена не в монашеское, а во вдовье одеяние – пусть и очень скромное, однако из самого лучшего и дорогого сукна, как у знатной боярыни, вдобавок расшитое гагатом и

черным бисером.

– Матушка-царица... – пробормотала женщина, а потом вдруг оглянулась, как бы проверяя, не подслушивает ли кто, и выдохнула едва слышно: – Стася! Ты меня не узнаешь?

– Магдалена? Маша?!

У Анастасии тоже высекло на миг слезы, но она тотчас сморгнула их досадливо и уставилась на бывшую подружку. Магдалена попыталась было пасть к ногам, однако царица удержала ее, и обе так и замерли, не сводя глаз друг с друга.

У Магдалены жгуче-черные очи окружены темнеющими, провалившимися подглазьями, что придает ей не то весьма печальный, не то осуждающий вид. Нос на похудевшем лице чудится слишком большим, щеки запали. Кожа приобрела желтоватый оттенок. Но по-прежнему нарядны длинные ресницы, по-прежнему свежи губы... что такое? Анастасия не поверила своим глазам: губы-то у Магдалены напомажены! Пусть и самую чуточку, а тронуты алым!

А что видит Магдалена? Ну, морщинок вокруг глаз у царицы не меньше затаилось, и печальные складочки протянулись к губам, зато щеки не приросли к костям, а приятно полны и свежи, радуют взор. Анастасия порадовалась, что убрус на ней нынче из самого тонкого белого шелка и не скреплен под подбородком, а, сдерживаемый кокошником с жемчужной понизью, развеивается за плечами, оставляя открытыми тяжелые драгоценные серьги и главное – шею. Она чрезвычайно бела, нежна, без единой морщинки. У Магдалены под подбородком черный убрус заколот рубиновой булавой, однако шея ее небось столь же морщиниста и желта, как лицо!

– Ах, как же прекрасна ты, государыня! – тихо, восхищенно проговорила вдруг Магдалена, вновь угадав, о чем думает царица. – Свежа, что цветок на заре. Словно только вчера...

Она глубоко вздохнула, не договорив, и перед глазами Анастасии пронеслись в единый миг одиннадцать лет, минувшие с их последней встречи. Свадьба, рождения и смерти детей, войны, тревога за мужа, отравляющая душу ненависть к его недругам, среди которых...

Она мгновенно подобралась. Магдалена – полюбовница Адашева, выданная им за управляющего только для сокрытия греха. Дети ее – наверняка дети Адашева, все они по-прежнему живут в его доме. Зачем старинная подружка вдруг заявила по истечении стольких лет? Неужели по наущению Алексея Федоровича? Но что ему надобно? Ведь он настолько влиятелен, что может исполнить любую просьбу любого человека, даже не взывая к царской власти. Тем более – к власти царицы, которая по сравнению с его воздействием на дела государственные не столь уж велика! Или... или Адашев с Сильвестром и прочими «избранными» признали наконец силу влияния Анастасии на государя и послали Магдалену просить мировую? Уговаривать, чтобы царица склонила мужа к походу на Крым?

Ишь, чего выдумали!

Магдалена глубоко вздохнула, и Анастасия поняла: та со своей непостижимой пронизательностью вновь проникла в ее мысли, осознала свое поражение, приняла его – и решила не подвергать себя вынужденному унижению.

– Прости, матушка-государыня, что осмелилась докучать тебе. Однако здоровье мое настолько плохо, что не чаю встретить новую зиму, а совесть покою не дает. Хочу вернуть кое-что. Ты меня небось в воровках числишь!

Анастасия нахмурилась, недоумевая, а Магдалена достала из складок своих одежд малую коробочку, всю унизанную жемчугом и золотыми звездками. Анастасия и притихшая Юлиания ахнули в два голоса при виде такой красоты. На крышке выложен крошечными камушками лик святой Марии Магдалины – мелко, но до того искусно и четко, что дух захватывает!

Насладившись изумлением зрительниц, Магдалена осторожно открыла коробочку – и Анастасия ахнула вторично, увидав лежащие на бархате серьги.

– Неужели те самые?

– Они, они, – смущенно кивнула Магдалена. – Помнишь тот вечер? Я их как раз примеряла, когда прибежал твой брат и сообщил, что пришли царские смотрельщики. От волнения забыла я серьги снять, а потом мы с тобой больше не виделись...

Анастасия осторожно вынула из ушей свои тяжелые трехъярусные серьги, на которых золотые бубенчики чередовались с изумрудными кругляшами и жемчужными низками, а вместо них вдела принесенные Магдаленой. Руки у нее дрожали от волнения, Анастасия даже слегка оцарапала мочку, но не ощутила боли под восхищенным взглядом Магдалены.

- О, Стася... - выдохнула та. - До чего же ты хороша! Ну совсем как прежде!

Умилившаяся Юлиания поднесла царице зеркало, и Анастасия поразились своей цветущей красотой. Куда пропали хвори последних месяцев? Неужто серьги вернули былую молодость и здоровье? Или это заморское стекло льстит ей?

Задорно тряхнула головой и усмехнулась, благодарно глядя на Магдалену:

- Спасибо тебе.

Та улыбнулась, поклонилась в пояс:

- Дозволь мне теперь удалиться.

На миг Анастасия растерялась. Так жаль расставаться снова - надолго ли? Наверное, навсегда! Но тут же неприятное, лживое лицо Адашева встало перед ее глазами - и бесповоротно отделило от подруги и сочувствия к ней.

- Иди, коли так. Бог с тобою! Возьми вот это от меня - на память.

Анастасия чуть не силой всунула в руки Магдалены свои драгоценные серьги. Та попыталась спорить, но царица нахмурилась:

- Возьми, сказано! Ну, прощай. Будь здорова, а коли надумаешь позвать государева лекаря, только скажи!

Магдалена, подрагивая губами, вгляделась в лицо подруги, потом кивнула молча и резко повернулась к дверям. Подол ее одеяния взвился-взвихрился, и Анастасия увидела: башмаки Магдалены подняты на высокие, не менее чем в пядь, каблуки. Так вот почему она казалась такой высокой!

И тотчас вспомнилось, о чем еще они говорили с Магдаленой тем судьбоносным зимним вечером:

«- О... о, какие серьги! Двойчатки, да с бубенчиками! Новые?

- Тетенька подарила к Рождеству.

- Больно рано! До Рождества-то еще седмица!

- Она к старшему сыну отъехать задумала. Сын ее - пронский воевода.

- Курбский? Так он твоя родня?!

- Ну да, мы с ним троюродные. И его матушка, и моя - Тучковы урожденные. А ты его знаешь, что ли, Андрея Михайловича?

- Не знаю, но видела. Красавец писанный! Галантен, как настоящий шляхтич, знает обхождение с дамами, по-польски говорит. Даже и по-латыни изъясняется!»

Анастасия сердито потрянула головой. Серьги, минуту назад вызывавшие столько приятных чувств, показались вдруг нестерпимо тяжелыми. Она совсем забыла: ведь это подарок матери Курбского - все равно что его самого! Нахмурилась и уже подняла руку, чтобы снять серьги, которые вдруг стали немилосердно оттягивать уши, да застыдилась Юлиании. Так и проходила в них до вечера. А поутру вспомнила, какой красавицей гляделась в них, - и надела снова.

* * *

Споры о том, куда царю посылать войско, между тем продолжались.

В Малой избе твердо стояли за Крым. Иван Васильевич и верные Захарьины, а также Басманов, который в последнее время опять приблизился к царю, возражали, что нечего и думать Москве справиться с Крымом, вассалом Турции, бывшей в ту пору сильнейшим и грознейшим государством. Вдобавок ко всему на всем протяжении от России до Крыма лежала Дикая степь и являла собой

неодолимое препятствие на пути к завоеванию острова. Иван рвался на запад: Ливонский орден мешал торговле России с другими странами, а выйдя к Балтийскому морю, можно было общаться с заезжими купцами без тягостного посредствия ганзейских городов, на которые, в свою очередь, давила Ливония. И вообще, он был твердо убежден: «Что бы плохое ни случилось с нами, все из-за германцев!»

Когда в Москву пробрался английский посланник-купец Ченслер, прибывший в Северную Двину на корабле «Эдуард Благое Предзнаменование», а затем в Лондон отправился торговый агент царя Осип Непея, Иван Васильевич ощутил, что его мысль о связи с Западом начала постепенно осуществляться. Теперь было самое время показать Ливонскому ордену силу русскую! Но тут случилось нечто, бывшее для суеверной и впечатлительной души царя очень весомым доводом в пользу его противников.

Возле недостроенного собора на Рву Василий Блаженный начал выкликать о русской крови, которая смешается с молоком тучных ливонских коров и напитает землю от Балтийского моря до самой до Москвы. Царь мгновенно забыл, какой неприязни был исполнен к юродивому, и заколебался.

Может быть, и правы его советники? Может быть, и впрямь обратить свои взоры на Крым? И храбрый князь Дмитрий Вишневецкий приехал из Украины, и Сечь Запорожская на крымского хана идти готова...

Анастасия пала духом.

Однако тут обстоятельства опять переменились. Кто-то увидел неподалеку от собора на Рву известного попа Сильвестра; кто-то разглядел ганзейских купцов, которые как раз посетили Москву и за каким-то чертом потащились поглазеть на иссохшего старикашку-юродивого, который – это же надо, а?! – кричал именно то, что этим купцам было живота дороже: никак-де нельзя трогать ливонские земли, надобно тащиться в Дикую степь, ее поливать русской кровью. Как будто ценность той крови различна! Ну а когда стало известно, что с теми же ганзейцами виделся князь Курбский, любитель всяческой иноземщины и частый гость Болвановки – Немецкой слободы в Москве, – Иван Васильевич взорвался, как тот пороховой заряд, коим некогда была подорвана Казань.

– Это что же творится, а? – бушевал он в покоях жены. – Значит, и вещей юродивый служит не царю, а Малой избе? Опять норовят советнички прибрать меня к рукам, будто несмышленного ребенка! Опять давит меня Сильвестр подобно тому, как домовый давит сонного человека!

Анастасия тихо улыбнулась и ласково погладила по голове государя Иванушку, словно любимое и разумное дитя. Он перехватил ее руку и прижал к губам. Анастасия задрожала, когда жаркие губы коснулись ладони, усы щекотнули запястье. Заметила знакомое нетерпение во взгляде мужа и хотела остановить его, что-то сказать, но не успела.

Мгновенно были забыты все дела, все заботы и печали. И она тоже забыла обо всем, счастливая властью, которую получала в такие минуты над этим человеком. Но блаженное ощущение внезапно переросло в боль – да такую, что Анастасия впилась зубами в ладонь, глуша крик, рвущийся из груди. Муж ее, решив, что она вместе с ним ловит самоцветные брызги плотского наслаждения, прижался еще крепче, и тут она лишилась сознания.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Неделя.

2

Вежливо.

3

Головной монашеский убор наподобие капюшона.

4

Прут.

5

8 ноября (26 октября по старому стилю).

6

Ныне Спасские ворота.

Купить: <https://tellnovel.com/elena-arseneva/garem-ivana-groznogo>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)